

Роман — номинант премии «Большая книга»!

Парадокс о европейце



**Николай
КЛИМОНТОВИЧ**

Николай Юрьевич Климонтович Парадокс о европейце (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8885760
Парадокс о европейце : [сборник] / Николай Климонтович. : Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-77887-4*

Аннотация

Ни в одну историческую эпоху в России нельзя быть европейцем без последствий для собственного благополучия. Однако Йозеф Альбинович М. не робкого десятка свобододолюбец. Он – анархист и гедонист – отправляется строить Соединенные Штаты в Украину, а на дворе – тридцатые годы XX века и либеральными идеями вымощена дорога в ад. История Йозефа заканчивается печально, но «вечные европейцы» до сих пор не перестают появляться и прожектировать будущее. Не парадокс ли это?

Содержание

Островитянин	4
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Николай Юрьевич Климонтович Парадокс о европейце

Островитянин

*Память – остров в океане забвения.
Суй Фуй Вын*

Сегодня Фэй не придет.

Сегодня Фэй отправилась навестить родных, а это неблизкий путь. Нужно катером с нашего островка, носящего имя Кон-Вай, добраться до Кон-Чанг, Слоновьего острова, он называется так не потому, что на нем водятся слоны, но сам остров в плане – с большим животом и длинным хоботом. Там пересесть на паром, идущий на материк. И уже на берегу попасть на автобус, идущий пять-шесть часов вверх по горной извилистой дороге, потом пешком еще километров семь до ее родной деревни – и за два дня не обернешься...

Обычно мы устраивались прямо на циновке. И только потом выходили из бунгало на пляж. Коли прибой не сильный, подолгу лежали в воде у берега. А если волна была высокая, закапывались в мелкий белый песок, разгребая, как черепахи, верхний раскаленный слой, добираясь до влаги, которую хранит нижний слой песка на память о ночном приливе.

Как мы общались? Если бы мне задали этот вопрос, я затруднился бы ответить. По-английски она знала лишь несколько слов, среди них неожиданное в ее устах *sad*. По-русски и вовсе ни одного, даже *спасибо*, она ведь была не продавщица и не кассирша, всего лишь *горничная*, но это для корректности, так домработниц в Москве нынче именуют *помощницами*. Фэй – простая уборщица, из деревенских. Она убирала в баре, потом у меня. Но мы понимали друг друга, и отлично ладили. Если она хотела близости, интересовалась: *бум-бум, папа*? Когда же бывала голодна, спрашивала: *папа, ням-ням*?

Конечно, я платил ей, но не больше, чем любой cleaner. Так что можно сказать, мы жили *по любви*, ну, по взаимной склонности, что мне было лестно: мне тогда было уже за пятьдесят, ей едва ли двадцать. Она, конечно, знала мое имя, но все-таки за глаза называла *пон чаа*, что на местном наречии означает «чужой», но чаще говорила просто *рус*. Только изредка она обращалась ко мне *Ко*, что казалось ей очень забавным – здешние жители, особенно жительницы, очень смешливы. Дело в том, что *кон* – это на их языке означает остров, но «н» не произносится. А уж воспроизвести *Николай* для нее было непреодолимо. Язык ее соплеменников односложен, как звук прибоя: медленно и ритмично туда сюда. Это удобно.

Понятно, для простого сознания не имеющий имени предмет как бы не существует. Так что в известном смысле я, став островитянином, добился своего. Я переплыл *на другой берег* и стал не только безымянным, но как бы и невидимым.

Когда-то мне хотелось сделаться *писателем*, и действительно удалось стать заурядным литератором. Я напечатал дюжину плохих рассказов, опубликовал одной книжкой три слабые повести и написал роман, который никто не хотел публиковать. Скорее всего, это было справедливо. Как и многие мужчины моего поколения, я поздно повзрослел: мужская инфантильность культивировалась прежней властью, которая рухнула, когда мне было уже под сорок. Но к пятидесяти, что называется, я в себе разочаровался. Я понял, что, ежели Бог обделил тебя талантом, *писать* в расхожем смысле хуже, чем просто глупо, это безвкусно. А, потершись в литературских кругах, я проникся самым искренним отвращением к собратьям по перу. Это были невпопад начитанные незамысловатые люди из разночинцев,

в мятых штанах и никогда не чищенных ботинках, обладавшие самыми посредственными творческими возможностями и, чаще всего, непомерным тщеславием. Стихотворцы тоже были щеконадувными, особенно лауреаты, члены жюри и сидельцы в президиумах. Нет, надувные бывают матрасы, в данном случае следует сказать, наверное, *щеконадувательные*. Позже стали приезжать с гастролями поэты – эмигранты третьей волны, выпускники советских школ. Я слушал двоих: один был энтомолог из Торонто, другой маммолог из Бостона, один изначально из Ленинграда, другой из Киева. У обоих ради размера в стихах то и дело мелькало словечко *вот*.

Конечно, попадались мне на пути и люди, несомненно одаренные, но те всегда были в тени, держались тихо, их оттирали подчас виртуозно, обносили с улыбочками, да и они бывали не истинно созидателями, открывателями новых путей, а довольствовались хоженными тропами. Пожалуй, действительно оригинальными среди пишущих бывали поэты, я знал двух таких. Оба, увы, были инвалиды, припадали на все ноги, детский рахит, кажется, люди болезненные, и с возрастом их стихи приобретали черты неведомых шедевров. Оба вызывали скорее жалость, чем восхищение, хоть и было понятно, что места в будущих антологиях им обеспечены.

Почему я начал сочинительство.

Ответа нет. Конечно, был внутренний толчок, медленно нарастал зуд и жар, я вдруг почувствовал *призвание*, услышал *голос*, зов *оттуда*. Но, скорее всего, это была лишь слуховая галлюцинация. Болезнь, столь распространенная в нашей стране. Стране насквозь литературной, все читающей да пишущей, но не работающей. А ведь в нашей безотрадной и холодной, некрасивой и недужной, непомерно большой и малонаселенной сравнительно с огромными пустыми пространствами, дурно управляемой, непластичной и немusыкальной отчизне, работы непочатый край. Нет, не отчизне – родине, бабский род, как подмечал еще Василий Васильевич, больше нам к лицу... Ну, и среда конечно, и багаж прочитанных книг.

Теперь было время припомнить, на скольких островах я побывал, прежде чем оказаться на этом.

Лет в пятнадцать, в театре я посетил дивный волшебный остров зловредной феи Сикораксы, но прежде в раннем детстве, с голоса бабушки, гостил на острове Буяне, потом самостоятельно добрался до Баратарии, доставшемся Санчо в губернаторство по дешевке, а там с Панургом достиг Острова Оракула Божественной Бутылки. Заглянул и на Принцесы острова, куда английская королевская династия ссылала не в меру притких своих родственников. Побывал на острове Отчаяния, где я, прилежный книголюб, делил тяготы с мистером Крузо и его печальным попугаем, все повторявшим *Робин, Робин, бедный Робин*; и на летающей Лапуте и, конечно, на Острове Сокровищ. Как-то я валялся с ангиной, и отец – едва ли не единственный подобный случай – читал мне вслух о таинственном острове Табор в Тихом океане, среди которого я сейчас и затерялся; этот остров упавшие на него с неба французы обозвали в честь Линкольна, поскольку в их компанию затесался освобожденный от рабства негр – в те времена было модно вызволять из неволи негров. Позже я посетил Итаку, где нас с Одиссеем ждала верная Пенелопа в окружении настырных женихов; с Архимедом на Сицилии, своей вулканической неудержимостью древним напоминавшей ад и сделавший для Гете образ Италии завершенным, искал точку опоры; доплыл и до Пасхи, ведомый капитаном Кон-Тики. Добрался на перекладных до Сахалина с Антоном Павловичем, которому, впрочем, слаще оказался Цейлон; и томился на острове Святой Елены тоже с островитянином, корсиканцем, это уж не без помощи Тарле и Манфреда; и на Мадагаскаре побывал с авантюристом екатерининских времен Морисом; с автором *Блохи* жила с островитянами в гостях у бриттов; а там погостил и на Капри у Алексея Максимовича, разминувшись, слава богу, с человеком, которому мое поколение было обязано счастливым октябрятским детством, –

ни в пионерии, ни в комсомоле я никогда не состоял. В студенческие годы прощался с Матёрой да шлялся по Аптекарскому острову в компании одного одаренного и пьющего питерского сочинителя, давно перебравшегося в Москву путем счастливого брака. Но только уже в относительно зрелом возрасте, достигнув Патмоса, я забыл все прочие острова и принялся то и дело туда возвращаться.

Впрочем, я вовсе не был книжным домашним мальчиком. Как все, гонял мяч во дворе, ухлестывал за девочками, с друзьями пил из горлышка дрянное вино по подворотням, доплавался в четырнадцать до третьего взрослого разряда, ходил в горы, бегал на лыжах. Я был живым, ловким, физически развитым парнем, при этом весьма общительным, всегда в кружке дружков, да и дамский пол рано стал меня привечать. И то, что я начал писать, вообще говоря, не так-то просто объяснить.

В шесть, едва бабушка, читавшая мне вслух Гауфа по оригиналу, по ходу чтения переводя, закрыла книжку, я потребовал бумагу и карандаш, заявив, что сейчас сам буду сочинять сказку, – грамоте был обучен с пяти. С тринадцати писал чуть не всякий день: накарябаю каракулями в школьной тетрадке рассказ, и, лишь поставив точку, отправлюсь гулять с девками. И никто меня не учил самодисциплине – графоманское прилежание оказалось врожденным.

Первым ценителем моих ранних опытов стал мой учитель литературы из математической *специколы*, куда меня, ставшего несносным от бурсацкой скуки, по слезной просьбе руководительницы класса в школе районной, перевел отец. Я написал обязательное школьное сочинение на тему *Моя любимая книга* про *Мусорный ветер* Платонова, рассказ по тем временам с аллюзиями, тогда этого автора только стали переиздавать. И учитель, вдохновленный и восторженный идеалист, тогда еще бывали такие учителя, позвонил моей матери со счастливым сообщением, что, мол, *ваш сын будет писать*. Кажется, это был педагогический промах, не нужно пробуждать в незрелых подростках убежденность в их талантах и будущем. Впрочем, моя матушка-полячка, женщина эгоистическая и трезвомыслящая, к этому сообщению отнеслась с прохладцей, тогда как батюшка, физик-теоретик и профессор, хоть и мечтал видеть сына, победно шествующим по естественно-научному пути, отнесся к делу серьезно и торжественно передал мне в окончательное пользование портативную пишущую машинку Mercedes. Но позже все-таки определил на физический факультет университета: на гуманитарный факультет меня не взяли бы как раз ввиду нечленства в комсомоли.

В студенческие годы я много ездил и в путешествиях этих побывал уже воочию на многих островах. На Валааме и на Кижях, а уж *остров Крым* был исхожен и обжит. В бытность мою литератором я жил на Готланде и на Корфу. Как-то летел на самолете местных линий из Афин на Родос над Эгейским морем. Внизу были тысячи островков, но лишь на немногих – козьи тропы, на остальных, скорее всего, не было воды. Говорят, греки готовы такие острова продавать за один евро. Потому, коли найдется энтузиаст и доброхот, освоит, окультурит, будет платить за привозную воду, то все будут только рады. Но, видно, такие редко находятся.

На Родосе я как-то сел на первый попавшийся катерок, недолго мы стояли на островке, где живут ныряльщики, добывающие пемзу. А сошел я на каком-то безымянном для меня острове, где был небольшой греческий монастырь – быть может, с византийских времен. Чернобородый мрачный монах угостил меня горячим пышным хлебом монастырской выпечки, в благодарность я купил втридорога в местной лавке диск с византийскими церковными песнопениями. Это была пугающе суровая музыка, исполняемая мужским хором а

сарелла, рядом с которой наши русские церковные распевы могут показаться утренним щебетанием птиц...

Слушая эту музыку молитв и послушания, я тогда еще возмечтал бросить все, остаться, уйти в монахи. Так иногда, идя по Амстердаму или Брюгге вдруг останавливаешься и начинаешь прикидывать, за каким окном вот этого дома фасадом на канал ты хотел бы жить. Но тогда мои мечтания остаться на острове в Эгейском море были, конечно, столь же беспочвенны.

Физику я возненавидел страстно.

На меня нагоняли страшную тоску осциллографы, приводили в отчаяние спектрометры, легкую панику вызывала даже простая динамо-машина, и заставляли отчего-то негодовать блестящие металлические шары, с помощью которых иллюстрировался закон Кулона для статического электричества. Дело сглаживала лишь пригожая молоденькая крепко сбитая лаборантка, верховодившая всей этой приборной нечистью, и вот с ее-то устройством мне было легко и бодро управляться.

Причина этой устойчивой неприязни к занятиям экспериментальной физикой, по-видимому, заключалась не только в том, что занятия эти ощущались мною как принудительные, но само обращение с этим простеньким на деле оборудованием требовало терпения и аккуратности, то есть скучного занудства, так противоречившего в те весенние годы моему выходявшему из берегов темпераменту. Впрочем, впоследствии, в будущих своих случайных и необязательных занятиях я, кажется, научился-таки известным зачаткам прилежания. Так что, возможно, дело было и в чем-то другом, не внешнем, но глубинном, смутно мною ощущаемом.

Теперь, пребывая в земном раю и размышляя о том, что же меня подсознательно так отвращало от занятий физикой, полагаю, что дело было в поползновениях этой науки разъять Божий мир. Вряд ли уже в юности я задумывался о самонадеянности, порождающей подобные намерения. Но никогда не смог бы стать адептом этой сомнительной отрасли знаний, целиком построенной на допущениях. И, соответственно, о полной их бессмысленности. Здесь к месту вспомнить *von mot* едкого Тютчева, сравнившего ученых с дикарями, которые *жадно набрасываются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением*.

Мне и сейчас смешны усилия, на которые потрачены тысячи бесплодных лет, а в наши дни – миллиарды денег, для того, скажем, чтобы обнаружить мельчайший кирпичик материи, недаром же, от отчаяния, наверное, эту гипотетическую частицу некогда назвали *кварк*, позаимствовав слово из сюрреалистических *Поминок по Финнегану*. Потом, уже в наши дни, всплыл некий *бозон*, что в физику лишь добавило неразберихи. Столь же смехотворны теории начала начал, описывающие, как Вселенная то ли сжимается, то ли расширяется в результате большого взрыва, что напоминает забавнейшие сменяющие одна другую гипотезы гибели на Земле динозавров, то ли от потепления, то ли от похолодания, то ли от потопа, то ли от того, что им по башке заехал большой астероид. А ведь можно только пожать плечами и вздохнуть: что ж, они погибли, и нас всех, похоже, на этой земле ждет та же участь.

Конечно, во всех этих научных гипотезах, теориях и сомнительных свершениях во все времена было множество спекуляций, много тщеславия и корысти. Но были же в науке и простые души, какие-нибудь монахи, прилежно разводившие в саду разноцветный горох, врачи, привившие сами себе смертельно опасные болезни, или воздухоплаватели, ценой собственной жизни доказывавшие присутствие на Земле гравитации. Эти фанатики проникновения в тайны Божественного творения безусловно веровали в химеру *естествознания*, несмотря на неприветливость или на, по крайней мере, равнодушие немой природы. Ведь и первоначальные коллективные естественно-научные мировые мифы, которые и есть суть религии, складывались из чистой изначальной потребности человечества в вере и знании истины, в вере

столь же бескорыстной, как любой идеализм. Наслаиваясь за века, новые гипотезы яростно отпихивали предыдущие мифы, и мне до сих пор не ясно, чем не устраивала монаха и астролога Коперника геоцентрическая планетная система жреца и мага Птолемея. И какая ему была забота и выгода, чем тихо молиться и составлять свои гороскопы, что вокруг чего вращается.

Теперь-то меня приводят в восторг утверждения нынешних астрофизиков, что, мол, одна пятая Вселенной им известна. А все остальное полно *темной материи*, чушь замечательная – одна пятая неизвестного это красиво звучит. Едва не сказал чушь *собачья*, но собак обижать негоже, они разумнее астрофизиков. А чего стоят их же, не собачьи, конечно, многолетние попытки послать сигнал братьям по разуму и ожидания ответа – судьба Бруно их не остерегает. Их положения ничем не хуже утверждения, что коли Сатурн с Юпитером в Тельце, то жди, что забеременеешь. Или что на Марсе текут соленые реки, при этом, впрочем, не сообщается, стоит ли прихватить с собой туда корнишонов.

В отношении познания замечательны мы, русские. У хантов и манси, у эвенков и якутов есть мифы, изображающие акт первотворения, и лишь у русских нет внятной мифологической космогонии. Это может означать лишь одно: либо никакого русского народа, в сущности, нет, потому что народ, которому всего-то какая-нибудь тысяча лет, не может так называться. Либо – более комплиментарное объяснение – мифы были утрачены, но это предположение не выдерживает критики: мифы не исчезают, как правило, даже с гибелью их носителей. Остается лишь предположить, что у наших предков было столь косное мышление, что, за заботами по хозяйству, за скирдованием сена и заготовкой дров, задавать себе загадки о происхождении мироздания им было попросту лень, достаточно было поклонения Велесу и священным пням и озерам. Да и холодно, ведь у ирландцев с их очень длинными сагами помимо свободного зимнего времени, в отличие от нас, были все-таки горячие гейзеры. И в этом случае мы, русские, воистину уникальный этнос, похожего на который не знала история человечества, поскольку отсутствие интереса к истокам жизни и началах мироздания есть не что иное, как стихийный материализм. И, сидя на своем острове, я обдумывал, не заняться ли мне национальной космогонией, чтобы восполнить этот вопиющий пробел. Времени полно, а топливо в тропиках заготовливать нужды нет.

И здесь, возможно, придется к месту такой забавный анекдот из буддистских анналов. Одного ученого ламу-мистика спросили, какие видения после смерти могут быть у материалиста. *Возможно, они соответствуют религиозным верованиям его детства и окружающей его среды*, – ответил лама. Что ж, легко воспроизвести посмертные видения советских людей – очереди, партийные собрания, пайки и карточки, а на десерт лицемерие вождей по праздникам на трибуне Мавзолея. Далее лама пояснил, что перед материалистом, наверное, возникают факты и собственные его суждения, на основе которых при жизни он отрицал реальность этих фактов. *У человека с неразвитым умом*, говорил лама, *вера в полное уничтожение после смерти скорее результат безразличия и умственной лени, чем убеждения*. Но тут же и утешил вопрошающего: *это, однако, не помешает энергии, порожденной прежними поступками, следовать своим путем*. Проще говоря, материализм никак не помешает новому перевоплощению материалиста.

Я не знал, сколько времени мы провели вместе с Фэй.

Я перестал следить за временем и календарем.

В своих часах я не менял батарейку, а потом просто закинул под кровать. В компьютере отключил соответствующие опции. Даже приходя в единственный на острове бар с Интернетом, чтобы просмотреть свою почту, купить сигарет, выпить местного пива или опрокинуть пару стаканчиков здешнего рома, закусив печеными креветками, я никогда не интересовался у хозяев, мужа по имени Джанг и его жены Квонг, какой сегодня день и которое число. Но день от ночи пока все-таки отличал.

Когда люди *не наблюдают часов*, если применить неуклюже переведенную с французского поговорку, их состояние, наверное, и следует назвать блаженством.

Сюда следует добавить и полнейшую безмятежность моего существования. Там, в мире, который я покинул, нарастал первобытный хаос, будто время пошло вспять, но я и знать об этом ничего не хотел. Но до времени я все-таки поддерживал почтовые сношения с едва ли не единственным своим давним приятелем.

Впрочем, эта переписка с Москвой все меньше трогала меня. Мне казалось, я вернулся в мир, каким он был до грехопадения. Прозрачным, ясным, понятным, не омраченным. Таким, как этот пальмовый остров с белым, как крахмал, песком, со стайками разноцветных рыбок, совсем аквариумных, в воде, сладко покусывающими тебе икры, едва ты, наплававшись, становишься на ноги у берега. С маленькими крабами, еще не достаточно подросшими, чтобы уйти на глубину, и нежно цапающими тебя за ступни, коли наступишь на камушек, под которым они прятались.

Однако письма все приходили и приходили.

Скажу несколько слов об этом моем корреспонденте. Это был еврей моих лет безо всяких иудейских склонностей, вполне светский, он и в синагоге-то, должно быть, ни разу не был и кипу не примерял, не соблюдал шабат, а еврейства своего, скорее, стеснялся. Да и фамилия у него была русская – Шапкин. Скорее, впрочем, переделанная из еврейской еще его дедом при введении паспортов в двадцатые. Впрочем, спрятать семитское его происхождение было никак невозможно, он будто сошел с холста Иванова – там выразительно изображены несколько подобных персонажей. Умница с университетским образованием, диплом по Гегелю, мало-помалу что-то сочиняющий в стол. Это не была беллетристика в собственном смысле, верней назвать его писания беллетризованным дневником, и это ли не лучшая форма для поисков утраченного времени.

Как ни странно, был он из военной среды. Но дети военных рождения середины прошлого века зачастую делались гуманитариями: сносные условия жизни, относительная сытость и приблизительная бытовая культура способствовали интересу к чтению и книжным занятиям. Впрочем, отец его был не пехотинцем и не танкистом, конечно, но военным врачом. И жену Григорий, так звали моего приятеля, нашел себе тоже военного происхождения: она была дочерью военного летчика. Это оказалась изумительно пробивная провинциалка, не в пример будущему рохле мужу, несколько перегретой энергетикой, из Евпатории. Нашла, разумеется, она его, ему бы не хватило инициативности. Не на авиабазе, но в библиотеке. Нет, она не была читательницей, она была библиотекарем. Охмутив и захомотав своего читателя-философа, она родила ему троих ядреных детей, сперва сына, потом дочь, а потом еще раз сына; сыновья носили греческие имена, дочь – латинское.

Дети распределились так. Старший внешне пошел в отца, ну, может быть, не с такой этнической выразительностью, кровь матери чуть смягчила еврейский его облик. Дочь обладала уже весьма размытыми еврейскими признаками, вот только к тридцати ее разнесло, и формами она стала похожа на свою тетю Раю, бездетную сестру Григория. А младшенький, отцовский любимчик, и вовсе вышел славянин. Ко времени нашей островной переписки старший сын, сделавшийся художником, женился по примеру отца на славянке, колхознице-белоруске, которую подцепил в поезде дальнего следования Москва – Сумы. Молодая невестка Григория не была пассажиркой, но, учась на агронома в техникуме, на каникулах подрабатывала проводницей. И, попав из своего села в Москву, натурально быстро сообразила, что квартиру своих новых родственников, родителей молодого мужа, нужно бы по суду поделить – зачем старикам четыре комнаты. Художник не мог сопротивляться, полюбив молодую жену телом и сердцем, и был родителями проклят, и стал для семьи Шапкиных как есть отрезанный ломоть.

Дочь к тому времени тоже вышла замуж, за еврея-электронщика из Киева годами десятию себя старше, и проживала в Иерусалиме. Лишь младшенький, сделавшийся программистом, оставался в орбите семьи, будучи у родителей прописан, и оказался единственным претендентом на жилплощадь, но главное – наследником по духу.

С Григорием мы сошлись еще в молодости на почве публикаций под одной обложкой неприятельного русскоязычного журнальчика, издаваемого на деньги славистского факультета в Зальцбурге. Гоша – домашнее его имя – уже тогда был многодетным отцом, и уже тогда вел жизнь уединенную, не обременяя себя поиском заработка. Многодетная семья бедствовала, но жена Гоши переносила тяготы стоически, это была изумительно выносливая и, как сказано, предприимчивая женщина, и оберегала покой мужа, к учености и талантам которого относилась благоговейно, картинка в нашем поколении популярная в интеллигентской среде. Замкнутый, хотя и чуть нагловатый не к месту, какими бывают стеснительные и не слишком тщательно воспитанные люди, на моей памяти Гоша лишь однажды имел любовницу примерной некрасивости и кургузости, тоже интеллектуалку. С возрастом он все больше дичился, все реже и реже ходил в гости, а ко времени нашей переписки окончательно впав, что называется, в *интернет-зависимость*. Он неделями не покидал квартиру в доме в крошечном спальном районе, постепенно прекратил сношения по электронной почте с большинством знакомых, делал в одиночестве гимнастику с гантелями, а потом и вовсе замкнулся. Он уничтожил записную книжку с телефонами и стер все адреса в компьютере, чтоб не было соблазна кому-нибудь позвонить или связаться по почте. Я до поры оставался чуть не последним, с кем он поддерживал переписку. Можно было бы сказать о нем в духе практик христианских анахоретов, что он стал затворником, пустынноиком, столпником, молчальником, как угодно. А если говорить о практиках буддистских, то можно бы его послушание назвать суровым затворничеством тибетского мистика-ламы.

Его жена говорила, что он днями сидит, запершись в своей комнате, и по возможности оттуда не высовывается. Он позволял себе, конечно, время от времени вести краткие беседы с домашними, но посетителей избегал, а сам, как сказано, на людях давно уж не появлялся, порвав связи с внешним миром. В идеале он должен был бы принять обет молчания и переписываться с женой с помощью компьютера, благо у моего знакомца и его жены были разные адреса электронной почты. До этого пока не дошло. Но выбраться из комнаты по нужде или выпить стакан чаю, стибрить украдкой что-нибудь из холодильника или тайком пожарить себе яичницу, он позволял себе только в отсутствие жены – дети ведь жили отдельно – или под покровом ночи. Сначала он изредка гулял на лоджии, но потом плотно занавесил окна, отгородившись от улицы и мира. Бравым отечественным психиатрам для того, чтобы истолковать подобное поведение, не понадобилась бы тонкая диагностика. Но у буддистов, адептов *прямого пути*, для того, чтобы считаться посвященным, такого рода испытание – норма. Оно должно длиться максимально три года и три месяца, и Гоша ко времени нашей переписки приближался к середине этого срока. Возможно, смутно догадывался я, мой приятель готовился к смерти. Что ж, для этого занятия *рано* не бывает. Быть может, репетируя, сейчас он движется от белого к желтому или уже достиг красного и вот-вот ступит в область зеленого...

К сожалению, письма моего корреспондента не сохранились, а мои остались в памяти компьютера, но и по этим моим ответам вполне можно судить, о чем в переписке преимущественно шла речь.

– Ты пишешь, дружище, что у вас там революция. Ты говоришь – триста тысяч вышли на улицы, протестуя против неверного подсчета голосов на выборах в Думу? Милиция, говоришь, передергивая, назвала цифру в пятьдесят тысяч. Ну, возьмем среднее число – сто. Это сколько ж у нас простаков! Считая, что – за вычетом младенцев и алкоголиков – в Москве

миллионов пять активного электората, на площади набралось аж 2 % избирателей, если я верно прикинул. Знаешь, если скидываются на троих и голосуют – кому бежать, то ошибка равна нулю. Если тридцать соседей по коммуналке выбирают, чья очередь мыть места общественного пользования, то ошибка может быть в 3 % – кто-то запил или не ночевал дома. Но если триста сельчан выбирают председателя поссовета, то ошибка плюс-минус десять голосов, то есть уже 5 %. Когда же голосуют три миллиона, то ошибка в 2–3 % это меньше статистической погрешности. А ведь недовольные неверным счетом возмущаются ошибкой, попадающей как раз в эти статистические рамки. И требуют признать выборы нелегитимными. Боже, что там выборы, что президент, у нас само государство, да и сама страна не вполне легитимны.

Ты говоришь, что мотором бунта является так называемый средний класс. Но у нас нет среднего класса. По определению, представитель среднего класса – тот, кто пользуется наемным трудом. В Москве у меня была домработница, да изредка я обращался за помощью к знакомому автомеханику. Был я – из среднего класса? В определенном смысле. Но я не пошел бы на баррикады. Я пользовался, живя на родине, базовыми свободами: свободой от цензуры и неограниченным доступом к информации, а главное – свободой передвижения, той самой свободой, которой так алкал в молодости, живя еще при коммунистах. Помнится, еще в дни революционерской своей юности я с упоением выписывал из *Опытов*, что, мол, кабы мне – Монтеню – был запрещен доступ в какой-нибудь уголок в индийских землях, то я и тогда чувствовал бы себя в некотором смысле ущемленным. Нынче я и сижу в одном подобном уголке, и ущемленным себя никак не чувствую. Думаю, как ты живешь в сетевом пространстве и являешься, не выходя на улицу, пленником мусорного Интернета, то и революция нынче в России, скорее, виртуальная.

Написав эту отповедь, я на самом деле оставался неспокоен.

Нет, митинги на московских площадях меня никак не взбудоражили, в конце концов, в Риме, скажем, дня не проходит без уличных манифестаций. И все давно привыкли – и население, и жандармерия. И наши привыкнут. К тому ж сам был молодым – кипучее юное недовольство вещь совершенно естественная: *кто не революционер в молодости, у того нет сердца*, так, кажется, говаривал британский премьер-министр.

Но дело-то было как раз в том, что мой приятель не был юн. Впрочем, не выходя на улицу, он и в митингах участвовать не мог. Но он был искренне взволнован. К тому ж с его слов выходило, что на улицы поперли люди отнюдь не студенческого возраста. *Менеджеры среднего звена*, как он пишет, то есть не юноши и отнюдь не люмпены.

При всем моем скепсисе, меня взволновала эта загадка. Фактически они *все имеют*, а значит, ими руководил какой-то иной мотив, а не просто протест ради улучшения условий бытового существования. Что, наш цинический, равнодушный и корыстный деловой горожанин, озабоченный лишь своими автомобилем и галстуком, стал вдруг идеалистом? И, не желая считаться немой массой, выступил в защиту собственного достоинства, которое гарант или преемник гаранта, как он там называется, так небрежно и высокомерно несколько раз задел.

– Боже, я же числил тебя по нашему братству обитателей Башни! Ты – башни из слоновой кости, я – из кости рыбьей, панцирей лангустов и омаров, чешуи креветок. Как же ты вовлекся? Ты ведь живешь припеваючи в бесплатной четырехкомнатной квартире, на службу никогда не ходил, завтракаешь салатом из авокадо, скачиваешь для чтения из Интернета что попало безо всякого внешнего контроля, всласть фрондируешь взаперти и пишешь, что бог на душу положит. Тебе ли, книжечю и философу, не знать, чем кончается русская смута? Качели нашей истории известны: за реформами Петра – Анна Иоанновна с Бироном,

за вольтерьянкой Екатериной – сынок Павел, за прекрасным началом дней Александровых – Аракчеев и братец Николай, за царем-освободителем – бомбисты, за Александром Третьим – тихий Николай Второй, которого безвинно обозвали *кровавым*, ненависть общества, Распутин, большевики. И даже за ленинским НЭПом – коллективизация и ГУЛАГ Рябого, за хрущевской оттепелью – брежневский морок. И что за Горбачевым, любившим, верно, наступать на грабли предшественников и повторившим роковую ошибку борьбы с *веселием Руси*, чем разрушил и страну, и свою карьеру, и даже партию в конечном счете? А за ним обворожительный секретарь обкома, бросивший собственную партию и первым из бывших партийных бонз признавший свои ошибки – прежде руководители такого ранга признавали лишь чужие. Так поживите ж хоть немного в покое. Хоть при *суверенной демократии*, хоть при *стабильности* и *модернизации*, называйте как хотите. И сынок твой, чем бузить, лучше б подался в Европу, взял напрокат автомобиль и катал бы в удовольствие свою подружку по замкам Луары...

Кажется, последний пассаж с призывами к спокойной жизни отчасти повторял эпилог *Подростка*, точнее *заключение*, писаное от лица воспитателя героя. Что-то о мусоре, перьях, щепках летающих, из чего вот уже двести лет никакого порядка всё никак не выходит. И там же, если правильно помню, некая апология русского дворянства, которое одно имело в России представление о порядке и законченной форме образа жизни. Хранило родовые предания и берегла семейную честь. Что-то в этом духе, на моем острове, понятно, русской классикой не торгуют. А читать Достоевского в баре с экрана...

На это послание он ответил мне холодно.

Текста, как сказано, у меня нет, но, помнится, там был весьма прозрачный намек на мое соглашательство. На предательство, так сказать, либеральной идеи, а значит – потерю права называться порядочным человеком. Короче, нечто в духе того, что Лесков называл *либеральной жандармерией*, и словечко это поняли и простили ему лишь лет через сто. На *глумство*, так сказать, говоря уже щедринским языком. Помните, в *Современной идиллии* Глумов призывал героя *уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об этом, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обычно занимаетесь*, что-то в этом духе. Давал советы больше гулять на свежем воздухе, *папироски набивайте, письма к родным пишите*...

Эти намеки меня еще больше задели. Я хотел припомнить ему, что, пока он с женой строгал своих детей, меня два раза обыскивали и таскали в КГБ на допросы. Что, мол, в дело *нашей и вашей свободы* я внес свою посильную лепту... Но сейчас, в данном актуальном контексте, все это звучало бы как-то неубедительно и не к месту, и писать этого я не стал.

– Я все ломал голову, с чего бы это ты так радикализировался? И хлопнул себя ладонью по лбу: ба, так ты ведь Ниловна из того самого произведения, которое, по словам Рябого, посильней, чем *Фауст* Гете. Твой младшенький, должно быть, попер на Болотную с триколором. И ты, кабинетный и аполитичный, вдруг почувствовал материнскую солидарность и встал в ряды. Или я ошибаюсь?

Знаешь, я нынче живу в королевстве, в котором все обожают своего монарха, молятся на королеву и не чают, когда на престол взойдет старшая его дочь – королю уж за восемьдесят. Именно дочь, потому что единственный сын-плейбой прожигает жизнь в Монако, и возвращаться в джунгли отнюдь не спешит. А наследование престола по женской линии разрешено.

Здесь порядок и законность. Воровства нет: это не честность – это суеверие, ибо дух чужой вещи может жестоко отомстить за грабеж. Впрочем, на мелочные регламенты, как то: правила уличного движения или запрет на проституцию или торговлю спиртным по ночам

здесь кладут с прибором, а полиция закрывает глаза. А вот за то, что ты закинул ногу на ногу, а подошвы смотрят в сторону портрета короля или, не дай бог, на изображение Будды – можно запросто угодить на трое суток в кутузку. То есть король обожествлен, а Будда, так сказать роялизован.

Король вполне легитимен, династия основана в середине позапрошлого века, к тому ж ведет начало от какого-то регионального князька. Выбирать его, разумеется, не приходится. Но есть выборный парламент, есть правительство. Единодушное обожание монарха в народе полнейшее и трогательное. Впрочем, у нас ведь до недавнего времени тоже любили верховных властителей. Пока один не взялся вопреки традиции партийных верхов таскать за собой повсюду свою бабу и вдобавок бороться с алкоголизмом, чем вызвал новую эпидемию самого безудержного пьянства и разрушил советскую империю. Впрочем, это он самый отменил цензуру и открыл страну...

Коррупция по сравнению с нашим отечеством здесь умеренная, причем чаще всего взятки полиция берет с бизнесменов-иностранцев, которых здесь тьма, своих редко трогают. И круглый год лето! Два месяца дождей, август-сентябрь, не в счет, это сущий пустяк рядом с нашим-то климатом с двумя солнечными днями в два года. Правда, от дождей в таком-то климате начисто гнивают корни цитрусовых деревьев – потому здесь нет ни лимонов, ни апельсинов, один лайм. Так и у нас цитрусовые не растут. Зато здесь три раза в год с плантациями снимают урожай ананасов.

Ты пугаешь меня узурпацией власти в Кремле. Но, как я помню с юности из соответствующего стиха: *русское тиранство – дилетантство*. Да объяви себя новоизбранный президент хоть пожизненным, хоть монархом – что с того. Что бы там ни брюзжало московское либеральное сообщество, выбран он по всем правилам больше чем половиной избирателей безоглядной и безотрадной нашей страны. Впрочем, и это совершенно неважно. Как я тебе уж, кажется, докладывал, всеобщее избирательное право – это елочная игрушка, детская забава, заводная поделка, политический мираж. Рябой это хорошо понимал, устраивая из фиктивных выборов праздничный ритуал с музыкой и выездными дешевыми буфетами на избирательных участках. Этот ритуал всего лишь такая утешительная иллюзия для народа, сказка на ночь. Причем так дело обстоит в той или иной мере во всем мире. По-видимому, единственная эффективная система власти из всех придуманных человечеством это конституционная монархия. То есть система аристократического правления – палата общин тоже ведь для блезира, чтобы писать законы и управлять, надо все-таки окончить Кембридж или Оксфорд. Именно монархия, контролируемая палатой лордов, позволила некогда Англии стать мировой державой, покорить мировой Океан хоть военной силой, хоть с помощью пиратов, использовать сполна плоды промышленной революции и придумать такую цивилизованную форму мордобоя, как бокс, как говаривал незабвенный Расплюев. Конечно, у нас с законодательной ветвью власти дело обстоит слабовато, но все ж таки четыре партии в Думе представлено, куда больше.

Коррупция? Неправый суд? Вот еще ты пишешь какие глупости. Так куда ж в России без взяток и воровства? Как писал Витте о благополучнейшем царствовании Александра Третьего: кто пожиже – тот берет, кто посильнее – грабит. И когда это у нас процветало право? При Плевако с Кони, что ли? Конечно, если завтра наш народец отселить на Луну, а Россию заселить, скажем, голландцами, то злоупотреблений будет куда меньше. Но мы любим родную природу! Мы – увлекающиеся. У нас если марксизм, так сразу ГУЛАГ, если феминизм, так сразу все начальники среднего звена – бабы. Мы середины не знаем, как известно. К тому ж мы всегда боремся, без борьбы мы зачахнем. Подметать нам, как известно, скучно, дело немецкое. Не знаю, не знаю, но все одно – чем дольше я живу на своем острове, тем больше издаюлюсь своей бедной родиной. Заменить-то все равно нечем!

Но вся эта моя элоквенция меня самого не до конца убеждала. Что-то меня беспокоило. Скажем, я не мог бы ответить себе на вопрос: будь я в Москве в те дни – пошел бы или не пошел. И отвечал себе, что будь я двумя десятками лет моложе – непременно пошел бы. Так что расписанные мною в письмах к товарищу обывательские мнения были во многом рассчитаны, чтоб его поддразнить и раззадорить. Конечно же я понимал, что массовое давление на власть снизу – вещь совершенно необходимая, оно ставит барьер равнодушию Кремля и убогому правотворчеству его цепной Думы, но... Положа руку на сердце я должен был бы сознаться себе: я отошел в сторону. Я возомнил себя буддистом, который сидит на высокой горе и равнодушно наблюдает за происходящим в долине. А раз так, мне нужно было убедить себя, что там, внизу, непосвященные людишки не могут же руководствоваться высокими мотивами. И что движут ими, скорее, инстинкты. Я смутно помнил одну книжку, в которой описывался студент, принимавший участие в антивоенных манифестациях 1914-го года в Москве. И рефлексии героя по этому поводу.

– Благоволительно, скажу тебе, островное прозябание: соблазна китайского ресторана, как у тебя под домом, нет, один только бедноватый бар. Здесь ничего не нужно иметь: ни дубленок, ни теплых сапог, только тапочки и панаму. Невольно задумываешься о судьбах русской революции. И понимаешь: не так важны ваши анонимные, слепоглухонемые сетевые коммуникации, посредством которых якобы возмущенная публика сбивается в гудящие рои, черт бы с ними. Прежде другого важна тяга разрозненных и отчужденных от собственного отечества индивидуумов – в толщу собственного народа. На первом месте – жажда утолить потребность чувства локтя. Слиться с такими же, как сам, мыслящими *инако* по отношению к власти, то есть одинаково.

Но физическое единство куда важнее морального. Один митингующий, сам слышал, признавался, что в толпе ему тепло, он чувствует прикосновения тел других людей. То есть налицо дефицит тактильного контакта – значит, во главе угла, как главный позыв, – спрятаться в давке от одиночества, как в переполненном автобусе. И тут не обходится, конечно, без сублимированной эротики. Это, кстати, интересная тема – сексуальность отечественного митинга: чем русский митингующий отличается от западного демонстранта. По-видимому, там налицо желание достигнуть конкретной цели, здесь – потребность контакта и тепла от других тел. И можно бы сравнить эту тесноту со сдавленностью верующих во время Крестного хода на православную Пасху: там при исполнении сакрального ритуала замечательный и очевидный накал сексуальности, причем носящей характер промискуитета – разрешенные поцелуи всех со всеми.

Кстати, в теплое время стольких тел не скличешь: дело не в дачном сезоне и посеве редиски, тут важен мороз, преодоление холода, физическое страдание – русская вера, как и русский бунт, без мазохизма, мы знаем, мертва. К тому ж паром клубится бесплатный чай, как материализация добра и чуда. Чай кем-то оплаченный, интересно – кем, ведь не было репортажа, где этот самый копеечный жидкий чаек не упоминался бы по сто раз. В девяносто первом, когда *живое кольцо* имело, конечно, ту же природу сопричастности и соприкосновения, спонсорами коллективного протеста были горбачевские кооператоры и бандиты: победы Крючков, он все у них отобрал бы, а самих повесил бы за яйца. Но кто оплачивает нынешнюю тусовку, неужели в Кремле разброд и шатания?

Можно с уверенностью сказать, что следующий митинг разгонит ОМОН. И Дума примет соответствующие постановления – против митингов. И Кремль их утвердит, ссылаясь на европейскую практику. Они ведь всегда ссылаются на пример заграницы, когда творят свои пакости. Нет, чтобы дороги замостить, воровать поменьше да попридержаться церковников, коли уж перенимать зарубежный опыт. Или что – собак теперь есть, как корейцы, Южная Корея тоже, чай, иностранное демократическое государство.

Что ж, все разграблено, и пропала вера. Наступила дивная эпоха всеобщего безверия. То есть – беды. А несчастье – дело молодое, ведь любое восстание – несчастье, не так ли? Именно молодые выкрикивают лозунги нетерпимости. Именно им нужны возбуждение, крики и кровь. Так и вижу эти толпы побитых революционных сирот. Не думаю, что митингующие не чувствуют, что рискуют если не жизнью, то здоровьем: получить от мордоротного омовца дубиной по тыкве не способствует хорошему самочувствию. И здесь возникает суицидальная тема, как развитие сексуальной – то есть тема экстаза: митинг как готовность к жертве, т. е. жажда героизма – основы романтического отношения к миру, к коллективному самоубийству в пределе. *Героическая ярость*, по выражению Джордано Бруно. Это начинается с отказа от личности, с восторга единства с толпой, с готовности к подвигу самопожертвования.

Но смысла в этом бунте нет, отсутствует эпохальная весть, *горизонт ожидания размыт*, как написал один современный автор. И процитировал апостола Павла: *нет стремления к новому небу и новой земле*. В скобках: вообще-то это слова из Откровения Иоанна, Павел их лишь повторил.

Но по-нашему, светски говоря, преемник гаранта искретен, когда удивляется – *неясно чего они хотят*. Ему и его соратникам из ГБ это ясно быть и не может: у них другая служба на уме, и иконы иные, и даже молельни по спецпропускам. А вот открыл бы распивочные и пару доступных массам борделей – и, глядь, нет никого на воздухе на Болотной. Это для мальчишек. А дамский экстаз вполне канализируется в поклонение святым мощам или сомнительному поясу Богородицы, целование рук клира, мазохистское выстаивание на отечных ногах трехчасовой службы (это вам не у католиков, где и службы короче, и присесть можно), храм Христа тоже неподалеку... Напишу, что ли, докладную как там его – Подвальному, что ли. Он ведь член ЦК – не знаю, правда, чего, нынешних эсеров или здешних кадетов. Надо бы поторопиться, пока Подвального не замели.

На это письмо я ответа не получил, на том наша переписка оборвалась. Я даже не послал ему шутивную *Памятку гражданина спального района, вступающего в жизнь*. Для него и сочиненную. Там было сказано, чего не следует совершать. *Не надо получать автомобильные права и заказные письма; играть в лотерею и принимать участие в ипотечном строительстве; прибегать к медицинской помощи и глотать таблетки; вызывать сантехника и ходить на выборы. Следует: иметь в квартире спальный мешок на пуху – на случай отключения теплоснабжения и прочего электричества. Ни в коем случае ни копейки не плати в пенсионный фонд. Неукоснительно выбрасывай повестки в госучреждения и обходи храмы стороной, они тоже государственные. В магазине бери только просроченные продукты, это дешевле и питательнее. Не избавляйся от заикания – так легче не проговориться. Не выходи из дома кроме как при землетрясении. Не смотри новости и прогноз погоды, только футбол. Не ходи на собрания. Если уже женат, не разводишься. Если живешь в гражданском браке – не женись. Если у тебя уже есть дети, никогда не забывай, что рано или поздно они окажутся сволочами. По возможности не имей собственности и ремонтируй обувь и штаны собственноручно. Если у тебя есть машина – не паркуйся, если уже припарковался – больше о своем автомобиле не вспоминай. Не занимайся сексом, это одна распушенность; не рукоблудь – дождись поллюции. Держи деньги дома, если случилось несчастье их иметь. Не верь представителям власти, помни – сами они никогда не верят тебе. Если чудом все-таки выпало оказаться за границей – никогда не возвращайся. Ибо страшно возвращаться туда, где ты не хочешь умереть...*

Памятка, как сказано, пропала втуне. Зато в Интернете я разыскал упомянутую книгу – это был эмигрантский роман некоего Марка Агеева, авторство которого поначалу приписывали Набокову. Позже раскрылся псевдоним, настоящее имя автора оказалось Марк Леви.

Я нашел нужное место. *Целый день я ходил по улицам, нераздельно смыкаясь – точно в пасхальные дни – с праздно толпой, и вместе с этой толпой много кричал и очень громко ругал немцев. Но ругал я немцев не потому, что ненавижу их... Именно это духовное соприкосновение, эта сладенькая общность с толпой...* А я о чем! И даже, точно как я, автор припомнил Пасху. Хорошо все-таки, что в мире были и до меня умные люди. Вот только мне не пришлось на язык этого заветного словца – *сладенькая общность*. А так все верно, все одно к одному.

Часто мы с Фэй гуляли по острову: пошатаемся среди прибрежных пальм, заглянем чуть поглубже от берега, в сырые неуютные джунгли, а потом выбежим опять на свет божий да и навестим бар.

Мы всегда садились на веранде, в тени редкостного, почти мифического дерева *самед*. Местные считают, что его кора обладает лечебным действием, из нее выделяют и нечто вроде наших лаптей – от ревматизма, впрочем, может быть, это лишь байки для заманивания туристов. Но, так или иначе, это дерево – большой долгожитель, корни его бугристы, низ ствола сплетен тугими древесными перепутанными жгутами, оставляющими впечатление древней мощи.

Иногда мы поднимались по ступенькам к пансионату на горе, построенному немцами: его фанерные стенки синели сквозь зелень кустарника. Пансионат был небольшой и уютный, на островах строить выше пальм запрещено, три-четыре этажа – предел. Немцы свою часть пляжа отгородили вполне эфемерной веревочкой. Позже я как-то спросил экскурсовода, сопровождавшего привезенное на наш пляж очередное стадо соотечественников, чему эта веревочка служит? Он ответил, что на Девятое мая наши туристы бывают всегда пьяны и, узнав про пансионат, порываются идти бить немцев. Как их деды. Да уж, наши ребята в любой части света *кому хошь* готовы устроить *веселую жизнь*.

Во время наших с Фэй прогулок мы всегда останавливались перед огромным, метра три в высоту, изображением Будды в белоснежных одеждах. Это не было скульптурное изображение, но плоское, по виду материал напоминал то ли папье-маше, то ли гипсокартон. Стояло это воплощение Будды на краю джунглей, в глубине подлеска, сразу не углядишь, наверное, его так поставили, чтобы ветер не повалил бодисатву.

Надо сказать, что лишь иногда в этих местах изображают Будду просветленно-отрешенным. Но в большинстве случаев, особенно в сувенирных статуэтках – никакой сосредоточенной боговдохновенности или агеластии, как выражался Панург, за счет монастырской эллинской, аристотелевской учености своего автора знавший миф о том, что скала в Элевсине, у которой присела Деметра, оплакивавшая Персефону, именовалась Агеласт. Эти изображения скорее напоминали то ли Мамуса, бога иронии и насмешки, то ли веселящегося Пана, а то и Приапа, но без должного приапического достоинства, конечно.

Фэй подчас проявляла набожность, но не всегда. Отчего один раз она преклоняла колени, а в другой – лишь кланялась, сложив ладошки под подбородком, я не знал. Хотя потом стал догадываться, что коленопреклоненно она обращалась к божеству с какими-то просьбами. А в иных случаях лишь воздавала должное уважение идолу.

Но не только Будде поклонялась Фэй.

Кажется, она, как и все ее соотечественники, была совершенно убеждена, что даже в самом скромном жилище непременно живут духи. И потому трогательно меняла цветы в вазочке, стоявшей в уголке моего бунгало, стараясь демонов умиловить. Цветы она выбирала причудливо – на вкус, осторожно надкусывая лепесток. Я пару раз пытался переставить эти гербы на стол, но она испуганно возвращала цветы на место. Что ж, по восточным

поверьям духи и демоны обитают на деревьях, в скалах, в долинах, возле озер и источников, слоняются по полям и лесам. В селениях они стремятся проникнуть в дома, и для них приходится строить во дворе поднятые на сваях уютные нарядные домики, отдаленно напоминающие наши голубятни. Но проникают бесы и в города, могут облюбовать массажный салон или кабину водителя междугороднего автобуса. На этот случай владелица борделя или водитель автобуса тоже держат цветы в специальной вазочке, и вдоль трасс стоят продавцы свежих цветов, которые водители покупают, не выходя из кабины, и обновляют свой букет, чтобы умиловить духа и склонить в дороге не зловредничать.

Сначала я позволял себе посмеиваться над Фэй, но она смотрела на меня с искренним сожалением, как на слабоумного. Я замечал, что в такие минуты она относилась ко мне с сожалением и даже тайным пренебрежением, опять видя во мне только *пон чаа*. Мало, что я не понимал человеческого языка, как младенец, но к тому же был настолько туп, что не разделял ее верований, не преклонял колен перед Буддой и не испытывал уважения к духам.

Что ж, почти все люди на Востоке непоколебимо уверены в умственной неполноценности европейцев: хоть в Монголии, хоть на Цейлоне. Белых они побаиваются, как сумасшедших, от которых неизвестно чего ждать, но и презирают. Скажем, признаком явной тупости тайцы, лаосцы или кхмеры считают стремление иностранцев с севера – загорать. Для юго-восточных азиатов белая кожа – недостижимое достоинство, и девушки ищут женихов, трудящихся в офисах, – не только из-за их достатка, но и потому, что офисный планктон, сидящий до сумерек под кондиционером, белолиц; глубокий же дочерна загар удел плебса, рабочих и крестьян, рыбаков, строителей. То-то они удивились бы, узнав, что где-нибудь в Берлине, Вене или Стокгольме для людей высшего круга зимний загар знак, напротив, престижа: значит, они могли себе позволить отдохнуть в Альпах или на южных морях.

Но туземцы подавляют в себе раздражение против белой расы. С чужими они внешне приветливы, улыбкивы, услужливы, тем более коли европеец – их работодатель. Ну, как я для Фэй.

Подчас мы ходили в другую сторону – к рыбацкой деревне. Идти туда нужно было пораньше, часов около семи, когда рыбаки возвращались с ночного промысла. В этот ранний час к песчаному пляжу причаливали длинные узкие лодки. Они здесь управляются с заостренной носовой части с помощью длинной металлической штанги, идущей к мотору на корме. Лодки бывали полны добычи, и пляж смердел от вытащенных на берег вонючих сетей.

Рыбаки тут же принимались торговать рыбой и креветками. За креветками приходила и жена владельца бара Квонг, она иногда брала и рыбу, но основной улов скупали деревенские хозяйки – они эту рыбу вялили, а потом их мужья торговали ею на пляже, когда здесь, на мою беду, высаживались толпы моих соотечественников. Торговали вперемежку с уже разделанными ананасами и ткаными темно-палевыми постельными покрывалами, испещренными гротескным орнаментом из листьев пальм и с вереницами оранжевых слоников по краям.

Как правило, рыбаки работали парами – наверное, эта кооперация была необходима не только для их нелегкой борьбы за существование, но и чтобы осилить стоимость дорогого японского мотора, сборы за стоянку лодки, оплату лицензии. Иногда рыбакам везло, в сети попадали морские гады покрупнее креветок и рыбной мелочи, лангусты, омары, даже осьминоги. Такой улов тоже попадал в бар или доставался владельцу единственного на пляже гриля, моему приятелю. Когда торговля была окончена, посчитаны и поделены доходы, к рыбакам приезжали их семьи, жены, дети, другие родственники – завтракать.

Этот ежедневный ритуал был по-своему трогателен. На самом берегу, прямо напротив места стоянки у каждой пары рыбаков был свой стол. Туда подкатывала семейная машина,

или старенький «Форд» с открытым кузовом, или – в семьях побогаче – такой же грузовичок-Jeep. На длинный стол выставлялись бутылки воды для женщин, пепси для детей и бутылки пива Chang, с двумя глядящими друга на друга слонами на этикетке, – для мужчин. В качестве гарнира они ели рисовую кашу, со стороны похожую на перловую, только еще темнее, почти коричневую от сои, а основным блюдом всегда была курица – никогда не рыба.

Пока они трапезничали, можно было заглянуть в кузова их автомобилей – там был кавардак, как бы следы стоянки цыганского табора, какое-то цветное тряпье, штаны вперемешку с рубашками и юбками, грязные простыни, комки нищенской одежды, клеенчатые фартуки и с подмятыми задниками калоши, банки, пустые бутылки, кастрюли, покореженные алюминиевые миски...

Все заканчивалось к восьми, когда в пансионате у немцев начинался завтрак. А между десятью и одиннадцатью, хорошо не всякий день, приплывали туристические катера, прожжавевшие бывшие сейнеры, списанные по старости и ставшие пассажирскими судами. И пляж отходил в распоряжение российских туристов, которыми оказывалась хорошо представлена вся безразмерная российская география: Нарьян-Мар, Алтайский край, Поморье, Уренгой, Екатеринбургская область, Сухотэ-Алинь...

Очень забавно на пляже вели себя отечественные дамы, мужчины в этих группах попадались редко, были вялы и апатичны, как все мужья, принужденные *отдыхать* с женами и детьми. Я наблюдал за ними – наблюдал, пока мне это занятие не надоело.

Женщины как заведенные мазали друг друга и своих детей – отчего-то и эти чаще были женского пола, бледные, цвета простокваши, испуганные отроковицы – мазали кремами, значения надписей на этикетках, как правило, не понимая. И ложились на припеке добросовестно сгорать, памятуя, что на их родине, в Сибири или на Урале, сейчас мороз, снега и тоска. Потом они терпеливо болели, по паре дней не выходили из отеля, совершали незатейливый шопинг, скупая тюками местный шелк – что делать с этими тряпками в их широтах? – разве что многослойно обматываться. И затем с новым приступом упорства опять лезли прямо под прямое в тропиках, безжалостное солнце.

Я устраивался подальше от них, в тени пальм, еще и потому, что многие из них были свиноподобны и даже под свежим бризом ощутимо воняли. И ты невольно начинаешь принюхиваться и к себе – не пахнет ли и от тебя козлом.

Со стороны было забавно наблюдать, как эти провинциалки, как правило – средних лет, как-то особенно и подчеркнута старались публично делать все складно, быстро, умеючи. Деловито расстилали свои подстилки, сначала пробовали воду ногой, потом, как деревенские девки, зажимали нос большим и указательным пальцами правой руки, зажмуривались и бухались. В море они непременно переключивались, боясь заблудиться и отстать от берега, наверное, будто в лесу собирали грибы. Вылезши из воды, они споро обтирались, ловко меняли в кабинках купальные причиндалы, быстро и по очереди поддевая задние конечности с облупленным алым лаком на ногтях, потом, будто исполняя танец живота, помещали свои зады и бедра в слишком узкие для всего этого достояния джинсовые шорты, рысцой бежали купать свое запачканное мокрым песком белье, отжимали трусы с видом наиважнейшей работы и упрямой занятости, залихватски откидывали с лиц жидкие пегие волосики и независимо подставляли солнцу щетинистые подмышки. Они как бы показывали: я здесь, за границей, своя. Как дома. Как бы демонстрируя: нам не впервой. Несколько хвастая даже, что уж и надоело. Со всем иностранным справляюсь играючи. Как бы уже и сама иностранка. Возможно, в этом поведении – русская компенсация первоначальной растерянности от незнакомой жизни и мучительного опасения, а вдруг я что-то не так делаю. И тут же что-то еще более русское, залихватское и хамоватое, что-то вроде *мы им еще покажем, знай наших*.

Но все-таки я упорно приходил на эти свидания с родиной, особенно в первые месяцы. Приходил отчасти и потому, что подчас мною овладевала ужасная, полноценная островная скука, незаметно переходящая в тоску. Я начинал томиться в своем добровольном гетто, в ополовиненном окоемом тесном мирке. Я вспоминал запах уже почти просушенного сена на заливном лугу, еще не собранного в копны. Или меня начинал преследовать вкус свежего супа из только собранных белых грибов. И, конечно, я скучал по родной речи, пусть на мой слух и варварски звучащей из уст этих затрапезных туристок. Ну не варварски – скажем мягче, по-детски, сплошь с ласкательными суффиксами. И слова они произносили причудливые: свою пляжную обувь они называли *шлепками*, вместо *фотографироваться* говорили *фоткаться*. А как-то я услышал из уст одной слово *макарошки*, и не сразу понял о чем речь, пока не догадался – о местной тонкой лапше.

Я лениво думал о том, что не будь в России смен времен года – как здесь, в тропиках, – то и русской литературы не было бы. Ни *Метели*, ни *Хозяина и работника*. И не ходи барышня в августе под видом крестьянки по ягоды, так, поди, и сидела бы в девках. И не было б романса одного из родителей Пруткова про цветики степные, колокольчики мои. И леса не были б по осени одеты в багрец и золото. И речка б не блестела подо льдом. И мальчик не застудил бы пальчик. Да что там, и *Вешних вод* не было бы, и грачи не прилетели бы, и ласточка с весною не шмыгнула бы в наши сени... Короче, меня догоняла ностальгия. Ностальгия, о которой не сам ли я как-то говорил Ивану, что чувство это химерическое, идет от слабости и душевной лени, от распушенности фантазии и похотливости воображения.

Или, лежа на песке, я размышлял, отчего многие сочинители, рожденные на берегу в приморском раю, едва услышав в себе шепот призвания и почувствовав робкое шевеление таланта, неизменно бежали в большие прокопченные города. Так уехала в Москву вся пишущая Одесса, и алжирский средиземноморский француз Камю при первом удобном случае сбежал в Париж. Ну, конечно, конечно, в столицах легче выдвинуться и прославиться. К тому ж там выставочные залы, консерватории, издательства. Но это – универсальное правило, оно таково же и для любого провинциала с хуторка в степи. Приморский же юноша в особом положении – потеря с морем связи для него много болезненнее, чем побег без оглядки из ненавистного захолустья или от идиотизма деревенской жизни. Здесь нужно искать причины метафизические, и, кажется, эти юноши не выдерживают как раз этой приморской окраинности мира: за спиной у тебя земля, занимающая не весь мир, как положено, но лишь половину мира, а перед лицом постоянно бескрайний океан, зовущий стать моряком, путешественником и героем, на худой конец поэтом. И кто знает, скольких одаренных юношей сманила водная стихия, и останки скольких неведомых гениев покоятся на дне морском. Впрочем, разрыв с устойчивым родным берегом все равно помешал бы им осуществиться в литературе, и первоклассных или даже просто хороших писателей-моряков можно сосчитать по пальцам: Конрад, Мелвилл, которого моряком можно назвать с натяжкой, юнга Жюль Верн да наш Станюкович. Зато уж заматерев и заработав Нобеля, когда писателю, по выражению наших футуристов, нужна только дача на реке, можно вернуться к морю, поселиться в Ялте на горе или на окончании Ки-Вест. Или вот здесь, на тихоокеанских островах. Как я да Гоген. Одна печаль: я так и не стал писателем, и Нобеля, скорей всего, уж никогда не получу.

Весть о страшном гибельном цунами на Юге, в Тихом океане недалеко от нас, на островах Индонезии, сообщил мне по почте как раз Иван, мой старинный приятель еще по Москве, серб по матери, по отцу – из терских казаков, его русский дед некогда был в белом движении и после Галиполи осел в Белграде. Иван писал, что неистовой силы ветер на островах вырывал с корнем деревья и сносил крыши домов, разрушил все приморские кафе и веранды, на берегу нашли сотни мертвых тел – в большинстве русских туристов, а

несколько тысяч человек пропали без вести. До нас стихия добралась лишь в виде нестрашных двухметровых волн, соскучившись, видно, гулять по просторам широкого, но мелководного Сиамского залива.

Иван был некогда в Белграде английским переводчиком, в Москве – спекулянтom электронной, а нынче держал в Паттае ресторан сербской кухни под названием *Nostalgi*. Он неизменно подписывал письма мне *Vania Pattayskiy*, клавиатуры с кириллицей у него не было. Но русским языком и грамотой он владел, правда, писал по-русски с ошибками, а говорил, подчас применяя забавные сербские обороты. Скажем, он всегда говорил вместо *нельзя* – *не можно*, вероятно, на Балканах слово *нельзя* неупотребимо. Фамилия же его была никак не Паттайский, конечно, но – Тихонов.

Уже из сказанного можно заключить, сколь примечателен был этот серб. Примечательным он был и в прямом смысле, не заметить его было трудно. Иван был огромного размера толстяк весом никак не меньше ста восьмидесяти килограммов и обладал при этом почти детской обманчивой невинности лицом и хитренькими глазками над розовыми подушками щек. У него жила в Сербии обильная родня по материнской линии, с которой он не хотел иметь ничего общего и связей не поддерживал. Он тяготел к России, где тоже была родня по линии отцовской, казачьей. Был и наследственный дом в Пятигорске, но в нем обосновалась двоюродная сестра Анна, единственная из родственников, с кем у него сохранялись теплые отношения. Дом у Ивана когда-то был и в Белграде, точнее полдома, но чтобы избежать тяжб с родственниками, он от этой недвижимости избавился. И оказался, как и следует истинному цыгану жизни и мира, бездомен.

Если б он не был столь доверчив, к тому ж испорчен кое-каким, но интеллигентским воспитанием, то его можно было бы назвать международным авантюристом. Сам про себя он так и говорил, совсем как Герман: *я – игрок, а вся жизнь – игра*. Можно о нем было и так сказать, судите сами: по основной специальности он был вовсе не переводчик, а режиссер массовых действий, закончив после гимназии театральный институт в Белграде. Английский язык был второй его специальностью – ускоренные курсы перевода при белградском же Институте лингвистики. Когда-то он служил менеджером по связям с артистами в Белградском варьете. Был переводчиком в Будапештском интуристе, где связался с местной мафией, с помощью которой удалось справиться с бандой арабов, перекупщиков международных железнодорожных билетов. Но его влек самостоятельный бизнес. Желательно опасный. Когда я с ним познакомился в Москве, он, будучи связан с сербскими националистами, торговал электроникой скорее для отвода глаз, на самом деле посредничая в подпольной торговле стрелковым оружием, закупувшимся на Кавказе и переправлявшемся контрабандой на сербские Балканы через Грецию и Македонию. Этот бизнес иссяк вместе с американскими бомбежками Белграда. Но оставаться торговцем электроникой было дело для него слишком рутинное. К тому ж он не был даже *в доле*, так что почти ничем не рисковал, что было, конечно же, скучно. Да и не по нему было сидеть наемным менеджером в душном московском офисе, принимая факсы и телефонные звонки. Вот тогда-то он и продал свой полдома на Балканах да еще дачку на Адриатике и вложил в бизнес по торговле автопокрышками в Турции.

Пожалуй, это был единственный оседлый период его жизни.

Дело в том, что тогда он, будучи уж сорока лет, впервые женился. Избранницей его стала очаровательная и добродушная шалава с прелестной располагающе доброй улыбкой, не знаю, где он ее подцепил, в ночном клубе не иначе. Это была высокая, с отменной сильной фигурой полуеврейка с пикантными рысьими глазами, из Узбекистана, бездомная, как и сам Иван, по имени Ольга, Иван произносил ее имя *Олга*, поскольку в сербской азбуке не предусмотрен мягкий знак. У нее оказалась чудная беленькая маленькая дочка, что Ивана

тоже вполне устраивало, и в дополнение к девочке они завели угрожающего вида немецкую овчарку, добродушную, как и сама хозяйка.

Я был на их свадьбе в *стекляшке* на Язуе.

Подвенечное платье было к лицу смуглой новобрачной, Иван же был при галстуке.

Они сняли милую двухкомнатную квартирку на Филях и жили радушным домом в счастье и относительном благополучии. Он занимался своим турецким бизнесом, она – промышляла в рекламном агентстве. Все бы хорошо, но *Олга* оказалась неисправимой наркоманкой и, соответственно, не обладала повышенным уровнем моральной ответственности и обостренным чувством супружеского долга. Впрочем, Иван не был ревнив. Ольга имела то, что наркоманы называют *заныр*, то есть потаенную квартирку возле Белорусского, ее нанимала милая компания безобидных друзей-наркоманов откуда-то из Тамбова, что ли, членов вокально-инструментального ансамбля *Кладбищенские будни*, исполнявшего по ночным притонам песни собственного изделия в стиле *hard rock*. И молодая жена Ивана, сдав дочку в детский сад на неделю, пропадала на три-четыре дня, но после умеренного *передоза*, истомленная бесконечным групповым сексом, в котором, чаще всего, выступала единственной подругой всего певческого коллектива, звонила мужу. Иван приезжал на такси и забирал супругу домой. И с неделю *Олга* была образцовой женой, пока ломка не обрывала идиллию, и вскоре дело кончилось тем, что она объявила о разрыве. Ольга честно объяснила, что уходит от Ивана не потому, что он плох, он, напротив, замечательный, но – пора выходить замуж за лидера кладбищенской группы, и на том следы ее теряются.

Как раз в то самое время оборвался и турецкий бизнес – партнер в Анкаре *кинул* Ивана. Остававшихся у того денег хватило долететь до Таиланда и, чуть поболтавшись на мелких подсобных работах – он какое-то время работал монтером-электриком, но дважды сверзился со стремянки, – он смог обзавестись по дешевке маленьким ресторанчиком неподалеку от паттайского отеля *Park Resort*. Уличная эта корчма, передняя стенка которой была из циновок, Иваном рассчитывалась на туристическую русскую бедноватую и прижимистую провинциальную публику, и над шалманом развевались сербский и российский флаги, а из динамиков магнитофона лилась крошечная советская эстрада. Из Белграда был выписан и повар, он, впрочем, был по крови венгр, и в таверне к местному разливному пиву стали подавать преимущественно гуляш с паприкой.

Обосновавшись, Иван, страдая ностальгией по славянским беседам – с тайцами о высоком не поговоришь, да и венгр был угрюм и нем, – принялся старательно звать меня в гости, и в какой-то момент я взял билет на самолет до Бангкока. Я сидел у Ивана в ресторане, мы тихо хором напевали *Buy-buy love, buy-buy happiness* из любимого обоими фильма *All that jazz* – во всей округе спеть за столом этот нехитрый репертуар ему оказалось не с кем.

Правда, было у Ивана несколько завсегдатаев. Один – поп, командированный в местную православную епархию из киевского филиала РПЦ. Поп был еще относительно молод и утверждал, что если дать тысячу бат, то здесь *любая пойдет*. Как всякое обобщение, и это хромало: Паттайя, конечно, большой бордель, но попадают тайки и подороже, не говоря уж о габаритных на фоне их девушках *из* Украины и *с* Молдавии. Заглядывал и один сингх в красной чалме, но этот был – ненадежный собеседник, он то и дело пропадал по своим коммерческим делам, занимаясь, кажется, экспортом китайского машинного масла в соседнюю Бирму. Самым верным посетителем был англичанин Джим, но Ваню с его славянской широтой смущало, что этот самый Джим из Бирмингема рассказывал о себе неохотно и весьма туманно. Он утверждал, что летал на американских самолетах бортовым механиком, но однажды, когда случилось спускаться на воду Ванину моторную лодку, оказалось, Джим ни черта не смыслит даже в лодочных моторах. Иван считал Джима английским шпионом на пенсии, и действительно – Джим тихо и нешироко жил со своей восемнадцатилетней содер-

жанкой тайкой в скромной квартире; постепенно выяснилось, конечно, что в Лондоне у него есть старая жена и взрослый сын, а в соседнем городке – еще одна жена, тайка, уже с двумя детьми, к которым Джим вскоре и вернулся.

Слушая его рассказы о том, как он рыбачил на спиннинг на реке Квай и к вящему ужасу окрестных крестьян выпускал улов обратно в воду, я склонялся к тому, что Джим просто-напросто какой-нибудь беглый инженер или банковский клерк, решивший после шестидесяти пяти напоследок глотнуть хоть немного воздуха воли. Что ж, такими эскапистами, англичанами или немцами, полны Гоа, Маврикий, Мадагаскар, Бали или Бора-Бора. И то: сколько вам в шестьдесят пять придется отвалить в Лондоне или во Франкфурте-на-Майне за смазливую шестнадцатилетнюю девчонку, чтобы она согласилась с вами жить, ласкать и ублажать, а по утрам ходить на рынок. И при этом еще ухитриться не угодить в тюрьму...

Иван тоже имел одну за другой двух жен-таек. Вторая жила в недалеком, тоже приморском городке и родила ему сына. И Ваня очень гордился своим первенцем, показывал то и дело его фотографии, на них был изображен малыш с умильными азиатскими глазками на круглой славянской рожице.

Но Иван стал тяготиться и ресторанным бизнесом. Он грозил продать харчевню к чертовой матери и заняться, наконец, любимым делом, а именно – перепродавать сербских футболистов в местные клубы. Самое удивительное, что это сомнительное занятие было уже, кажется, на мази. Однажды я застал в его ресторане поджарого, не слишком молодых лет хорвата, сидевшего под вентилятором в одних трусах. Это был футболист, списанный по возрасту из какой-то загребской команды. А подчас посреди нашего с Иваном хорового пения вполголоса раздавался звонок мобильного телефона, и Иван увлеченно что-то обсуждал по-сербски. Потом куда-то перезванивал и говорил уже по-английски, что за этого выдающегося хавбека он просит комиссионных всего-то десять тысяч баксов.

Он агитировал меня плюнуть на Россию и оставаться здесь, приводя в пример англичан с немцами и тысячу других вполне разумных аргументов. Что ж, я решил попробовать. Сдал в Москве квартиру, получил новую визу еще на три месяца и уехал на Ко-Чанг. А там добрался и до нашего с Фэй островка.

Но цунами, которое нас не достало, дело не кончилось. На севере прошли страшные ливни, для которых было совсем не время – сезон дождей давно кончился, – сошли грязевые сели, залило горные провинции и затопило нижний город хижин бедняков в Бангкоке. Родственники Фэй жили как раз на севере, в горном районе. И Фэй отправилась к родным, впервые за долгие месяцы меня покинув. Она дала мне понять знаками, что скоро-скоро вернется назад. Но время шло. Его прошло достаточно, чтобы я вполне смог оценить, как сильно я к ней привязался.

Похоже, блаженство мое кончилось. В одиночестве я шатался по берегу, валялся на песке под пальмами, и моя главная и единственная взятая на остров книжка подчас днями не перелистывалась, оставаясь заложенной на одном и том же месте. Зато меня стали посещать воспоминания.

Началось с того, что я стал припоминать своих бывших московских подруг. Для удобства я располагал их в русской литературной последовательности: Лиза, Татьяна, Наташа, и где-то сбоку сколько-то Олечек да Галюш. Потом выбирал какую-нибудь одну и принимался о ней думать, восстанавливая подробности.

Скажем, перед самым своим отъездом в одном знакомом московском доме я случайно встретил свою бывшую даму, и был неприятно поражен, что она сделалась совсем старушкой. Что ж, она была старше меня. Сейчас, едва меня узнав, она улыбнулась прежней своей

улыбкой и сказала, как и прежде несколько манерно и тягуче: *кого я вижу, Николая, но где же твои горячие молодые глаза?* По-видимому, она замечала лишь чужое время, свое для нее стояло на месте. Она успела мне рассказать зачем-то, что недавно упала и сломала шейку бедра – беда, частая у стариков. И что теперь у нее вместо бедра вставлена какая-то железка. Раздраженный тем, что я должен выслушивать эти старческие жалобы от давней подружки, я скабречно сострил, что, мол, это даже удобно, *есть за что, в случае чего, держаться*. Но она посмотрела на меня сухо, и улыбаться перестала.

Звали ее толстовским именем Наташа. Наталья Пыхова.

Мы познакомились, когда я еще служил в Газете, то есть в середине девяностых, на вернисаже, который она устраивала. Была по образованию искусствовед, имела собственную небольшую галерею, но промышляла устройством коммерческих выставок на чужих, более просторных площадках. И эта была задумана таковой. В содружестве с бывшей своей приятельницей, еще в советские времена съехавшей в Калифорнию, они задумали чуть спекулировать. И устроили показ-распродажу дешевой американской бижутерии в расчете, видно, на то, что московская лапотная публика окажется падкой на эти стекляшки. Их расчет оказался неточен: к тому времени местные состоятельные дамочки были уже не прежние дикарки, какими по старой памяти продолжали видеться советским эмигранткам из Америки, многие и одеваться уже летали в Милан, и приобретать эти пластмассовые уродливые украшения могли лишь для того, чтобы надеть на шею любимому пуделю.

Я тогда снимал в Переделкине дачу с камином, Наталья получила туда приглашение, которое с легкостью приняла. Впрочем, когда я приглашал ее, я не мог знать, что она вдова с шикарной квартирой в центре города, доставшейся по наследству, из окон которой открывался вид на храм Христа Спасителя. И что ее муж был одним из самых богатых в Москве фарцовщиков, начинавший когда-то со спекуляции чеками у магазинов «Березка». И что он умер от скоротечного рака несколько лет назад. Я видел перед собой лишь складненькую бабенку, лет на десять меня старше – страдая, видимо, Эдиповым комплексом, я всегда предпочитал иметь дело с женщинами старше себя. Совсем по-деревенски миловидную – она наверняка была поколения во втором из крестьян, веселую, даже задорную, склонную, безусловно, к пикантным приключениям.

Зима была очень снежная, и в день, когда она должна была приехать, снег валил всю ночь и все утро. Улицы в поселке успели-таки часам к четырем расчистить, но так, что разъехаться на них было нельзя. И она потом весело рассказывала, как, давая дорогу какому-то «Мерседесу», она на своих «Жигулях» посторонилась и съехала на обочину в сугроб. И как какой-то незнакомый прохожий дядечка помог ей вернуться на колею, вытолкав автомобиль, и напоследок сказал: *столь роскошной даме в такую погоду не в сугробе надо сидеть, а пить, завернувшись в плед, у камина кофе-классик*. Этот самый кофе-классик мы с нею потом долго, хохоча, вспоминали.

Роман этот кончился как-то вдруг, помню только метельную полночь, очень скользкую набережную и большую черную машину, вдруг возникшую впереди. Я ударил по тормозам, и меня плавно-плавно, как во сне, понесло вперед и легко сдвинуло с чужим автомобилем. Мне повезло, я был за рулем очень легкой малолитражки, а броня «БМВ» была крепка. Так что, помнится, я отделался пятью сотнями долларов: о вызове ГАИ никто не помышлял: для владельца подставленного и специально чуть помятого *бумера* это был промысел, я же был сильно нетрезв.

Это происшествие, поутру обдумав, я решил расценить как знак. Вернул Наталье ключ и позже видел ее лишь время от времени где-нибудь на выставках. Она держалась со мной иронично, как-то, когда мы стояли рядом на фуршете, на вопрос, кем-то обращенный ко мне, отчего я не пью – я был за рулем, – ответила за меня: *у него всегда бутылка уже внутри*. Это

был далеко не единственный случай, когда дамы, надежд которых я не оправдал, объясняли знакомым мое охлаждение гибельным моим пристрастием к алкоголю.

Фэй все не возвращалась.

Я скучал и томился.

Ночами, ворочаясь и сменяя влажную простыню, я пытался представить себе какую-нибудь женщину, которую сейчас хотел бы обнять. Но не мог – я хотел только Фэй.

Я мысленно проделывал с ней путь на континент. И почему-то мне вспоминались острова мусора в океане. Как находят друг друга в безбрежных водах все эти полиэтиленовые пакеты, тряпки, обрывки газет, деревяшки, пластиковые бутылки, пачки из-под сигарет и использованные презервативы. Наверное, у мусора есть своего рода навигационное чутье и родовая память об уюте стаи, тяга быть вместе в одной куче, как на митинге.

Однажды, когда я как обычно лежал под пальмой, я поймал себя на том, что разговариваю вслух сам с собой. Я произносил пылкую речь о судьбе героя. И о зле, ему причиненном. Оно непоправимо, вот что. Нивы красивы, люди счастливы, а зло непоправимо. Любовь, конечно, завершается браком, свет торжествует над мраком, но жизнь безвозвратна. И память – дитя этой непоправимости и безвозвратности. Законный ребенок одиночества и отчаяния. *Так, сказал я себе, одиночество будем выдавливать из себя по капле.*

Я твердо себе это сказал, но *на душе у меня стояли слезы*, как выразился где-то автор *Обломова*. Нужно больше веселиться. Нужно петь и танцевать, вот что. А какие я знаю песни, разве что белогвардейскую *По долинам и по взгорьям*. И *Подмосковные вечера*, но повторить удастся хорошо полтора куплета. Или припомню с пятого на десятое какой-нибудь акафист. Скажем, моему покровителю, святителю Христову Николаю. И я громко по-дьяконски загнусил *возбранный чудотворче, и изрядный угодиче Христов, миру всему источаяя многоценное милости миро, и неисчерпаемое море чудес...* И, переведя дух: *восхваляю тя любовию, святителю Николае...*

Кажется, я тихо сходил с ума.

С общепринятой точки зрения я и был полоумным постояльцем этого побережья. Сбрендившим, как любой островитянин: море только сначала утешает, потом доводит до слез и сводит с ума.

Надо стойчески переносить свое одиночество, повторял я. Свое героическое одиночество, банальное героическое одиночество. Надо перейти на светские танцы. Какие танцы я знаю. Ну, *Сказки Венского леса* можно бы сбачать, я не забыл эту музыку еще со времен школьных вечеринок. И душенадрывательную мелодию *На сопках Маньчжурии*. Нет, нет, что-нибудь полегче. Вот была в моей юности совершенно идиотская чухонская, наверное, летка-енка с захватом бедер впередсмотрящей барышни. И, конечно, буги-вуги. И рок-н-ролл, помню, как танцевал его с Маринкой из параллельного класса – ах, прелестная адыгейка Мариночка, я был замаринован весь последний школьный год, все четыре четверти. Помнится, было это на выпускном балу, в тот последний школьный вечер я любил ее, кажется, в последний раз. Что еще: твист, шейк в интерклубе университета, но все это – в прошлом и неблагородно, дворовые юношеские какие-то танцы, для подмосковной танцплощадной молодежи или деревенского клуба. Вот, помнится, когда мода на Штрауса спала, у Дебюсси в начале прошлого века в *Детском уголке* был кекуок Голливога, черной такой куклы мужского пола. Но я понятия не имел, что такое кекуок и как это танцуют. Еще я вспомнил, читал где-то, что в начале прошлого века в Америке танцевали Grizzly Bear, и Bunny Hug, заячьё объятие, и Texas Tommy, и Turkey Trot, индюшачий шаг, как и Fox Trot, шаг лисицы. Все в стиле регтайма, это сказано в американском романе, что так ловко перевел покойный Василий Павлович. Это потом уж пошла сплошная развязная, вакхическая ламбада...

Разом все потемнело, и наступили сумерки. Я сходил в бар за бутылкой рома. Вскоре я уже искал в темнеющем небе тропик Рака, а затем созвездие Растения Картошка. Потом я уставился на море, и твердо вспомнил, что хлестаковский лабардан – это просто-напросто треска, и что акула – рыба *поперечноротая*. Кажется, я впал в состояние медитации, назовем так, по-буддистски, мое тихое безумие.

Когда рома оставалось лишь полбутылки, меня озарило видение и возник первый светосный мой посетитель. Он сидел совсем неподалеку от меня – мой знакомый московский стоматолог Семен Львович Хайкин, Семушка для постоянных клиентов, Хаечка для своих. Он всегда ко мне тянулся, потому что считал, будто я – писатель, а он уважал писателей. И его матушка, давно жившая в Израиле под Хайфой, тоже уважала писателей и читала журналы «Знамя» и «Юность», реже «Неву», а «Новый мир» совсем испортился.

Я подозревал, что доктор Хайкин и сам втайне пописывает, очень уж пристально он приглядывался к этому прогарному занятию, и делался суетлив, когда интересовался, много ли я пишу и как, неужели сразу на клавиатуре. Я не ошибся, однажды он вручил мне рукопись под именем *Записки стоматолога*. Это были, так сказать, мемуары. Семушка описывал своих товарищей по институту стоматологии, свое начальство и своих клиентов, интересных в большинстве людей, заведующих адвокатскими конторами, милицейских чинов или директоров магазинов сантехники, впрочем, была и одна заслуженная артистка. Причем описывал вполне лицепрятно, по-доброму, что вредило и без того неуклюжему повествованию. И оборот *мы закусывали солеными грибами, найденными в ближайшем лесу*, был одним из самых забавных. Я указал ему это место. *Это от литературной неопытности*, простодушно пояснил он.

Его бесхитростное сочинение оставляло ощущение блаженной скуки, и каждая страница упоительно благоухала банальностью.

Скажем, он вспоминал, что, когда он служил в стоматологической спецполиклинике при Генеральной прокуратуре – место не из последних, – в газетах напечатали, что Солженицына выставили из страны. И пациенты-прокуроры, и сами стоматологи радовались мудрости правительства, сожалея лишь, что Нобелевского лауреата не расстреляли. *У меня у одного щемило сердце*, пишет Семушка, и добавляет, *но я этого, конечно, никому не показывал*. И оставалось пожалеть лишь, что Семен Хайкин некогда выбрал зубную профессию, а не гинекологию, скажем, – читателю было б еще забавнее и духоподъемнее почитать о его прищемленном, как хвост, сердце.

Наконец, Семушка пришел ко мне за рекомендацией в Союз писателей. Он торжественно и даже несколько высокомерно, точно оказывал мне честь, протянул мне лист, согнув его так, что свободным оставалось лишь место для подписи. Я понял, что его напускная небрежность маскировала волнение – не потребу ли я прочесть, что такое он там сам про себя написал и что я должен подмахнуть. Боже, да какое ж это имело значение! В этом самом Союзе состоят такие члены, что даже если б Сема Хайкин не сочинил ни строки, он и в этом случае был бы перлом и бриллиантом в этих рядах. Он хоть носил приличные дорогие костюмы и щегольские галстуки, а эти члены вполпьяна щеголяли в обвислых, будто с чужого плеча, с сальными воєротами и карманами пиджачках, никогда не знавших чистки. Другую рекомендацию он добыл от едва знакомого литератора, страдавшего страшным кариесом, и поставил тому пару пломб бесплатно.

Но писательство было не единственное его хобби – он коллекционировал фарфоровых баб отечественного производства, ездил за ними в Измайлово, в Лианозово и на станцию Марк, как завзятый собиратель. Он говорил, что осознает – писатель он слабый, заметим, в том, что он – писатель, у него сомнений не было. Что ж, естественно, ибо писатель – это

тот, который пишет, а Сема много писал. Он хоть и завел для фарфоровых баб отдельную горку в своей многокомнатной квартире, червь графомании продолжал проделывать свою незаметную, но повсевременную работу над его тихой незлобливой душой. И ничто теперь Сему отвлечь не могло, ничто не помогало: ни дорогие костюмы и дорогие машины, ни даже задушевные дружбы, к которым он был склонен: он страдал теплой еврейской рассеянной добротой и равнодушной врачебной сострадательностью. После пятидесяти полюбил рассказывать о своих болезнях, в то время как прежде – жаловался на жену и хвастался любовницей-манекенщицей, которой за свидание платил восемь сотен баксов. Много, для него очень много, он был экономен, но, с другой стороны, можно считать, что это были соития по любви, ведь многие коллеги его пассии, как она намекала, брали со своих состоятельных любовников за свидание и до пары тысяч. Да еще бриллиантами, подругами девушек, как пела некогда Мэрилин Монро.

У Семы была жена – совершенство в своем роде. Это была грубовато симпатичная, с толстыми чертами лица наполовину осетинка, дочь милицейского генерала, редчайше завершенный тип жительницы Рублево-Успенского шоссе. И она сильно, помнится, на меня рассердилась, когда я за столом поинтересовался, нет ли у них в Жуковке крематория для своих и своего Рублево-Успенского колумбария. И нельзя ли, типа, устроиться по благу. Она бросила на стол салфетку – от себя, очень кавказский жест, а Сема глянул на меня с тихим огорчением и промолчал, выглядя сокрушенным. Я посмотрел на них обоих: кажется больше в этот уютный дом меня не пригласят... Это была вторая его, молодая, жена, первая, жена еврейская, уж состарилась.

Когда-то, в начале брака, своей осетинки Семушка чуть стеснялся. Хотя на первых порах она как раз была сносна, хоть и надевала на рауты спортивные штаны с лампасами, а на фуршетах не отпускала от себя, прижимая к груди, что называлось тогда *пол-хозяйственную* сумку. Но вскоре она Сему прибрала, приучила и приручила. Да и сама, надо отдать ей должное, постепенно овладела рублевским хорошим тоном и научилась при виде товаров на вечеринках громко и грубо орать, чем страшнее была знакомая – тем громче: *господи, как шикарно ты сегодня выглядишь!*

Она была тут же, на песочке под пальмой, рядом с Семой, и, кажется, перечисляла, что тот забыл, не туда заплатил и зря потратил. Она припоминала ему, что сосед-таможенник грозился спилить их дерево, ронявшее листья на его английский газон, и теперь *ты должен все ему сказать*. Про лифт на даче, который застрял с ней вместе на третьем этаже и так до сих пор и не был починен. Она напоминала об этом таким тоном, будто этот самый лифт Семушка и сломал, а он им и не пользовался, ходил пешком для похудения, на третьем этаже был его кабинет, хоть он давно не практиковал дома, имея долю в частной клинике. Жена напоминала, что этой зимой провалилась крыша на веранде от чрезмерно бурного многодневного снегопада, и, кажется, в снегопаде тоже Семушка был повинен. И что вот он зазывает гостей в их московскую квартиру, в то время как знает же, что *все тарелки на даче...*

Семушка с привычной рассеянностью внимал. Он думал, должно быть, о старости и о том, что никогда уж не возьмется за изучение истории, как мечталось. И что повсюду все как-то тянет и везде укалывает, и спина побаливает. И еще о том, что он дает жене денег столько, что она могла бы всякий месяц покупать по новому сервизу, ну, пусть не саксонскому и не английскому, чехи тоже выпускают вполне приличную посуду. Но, конечно, прежде другого он думал о том, что вот было бы хорошо попробовать аборигенку. Но не то чтобы совсем не стоиёт, а как бы и желания нет. То есть желание есть, но может и не встать. То есть встанет, конечно, если девушка помассирует рукой, лучше ртом, но все-таки она, наверное, пахнет, да и желания нет. То есть желание-то есть, но может и не встать, и нет презерватива, ведь если жена обнаружила бы в его чемодане презервативы... О карманах и речи нет. Но, может быть, у нее, у девушки, у самой есть. И сколько это может стоить...

Вставай, громко крикнула жена, *пойдем, спать пора, нечего расслаивать*. Семушка поднялся с песка без прыти и поплелся за ней, потащился, черпая песок сандалиями, все думая о своем заветном, мол, хорошо бы попробовать, но... И вот исчезают они с моих глаз, как будто и не было их на моем острове вовсе.

Возможно, я заснул, и следующий визитер мне приснился. Так или иначе, я увидел, как по белому песку корявой походкой слесаря автомастерской, чуть выпятив животик, приближается ко мне в одних поколенных трусах загорелый Женька Сашин, на ходу почесывая в паху.

Мы познакомились в Центральных банях. Это было давно, очень давно, будто в иной жизни.

Познакомил нас с Женькой – Сашин так и оставался до смерти для всех Женькой – один писатель и сценарист, тоже мой приятель с самых ранних лет. После очередного захода в парную мы сидели, закутавшись в простыни, пили водку, запивали пивом, закусывали сырокопченой колбасой. И сценарист представил мне Женьку по всей форме: *ведущий отделом прозы издательства «Советский писатель» Евгений Сашин*. Люби, мол, и жалуй. Я сказал: *что ж, давным-давно у вас в издательстве лежит моя книжечка, три повести...*

– А что ж лежит-то? – спросил Сашин, будто сам не мог догадаться.

– Отклонили, – уныло отвечал я.

– Глянем, – бодро пообещал он.

И точно. Через несколько дней Сашин позвонил мне и попросил зайти в редакцию. Он не поленился, запросил мои повести из архива, прочел и – немисливо – перезаклучил со мной договор с выплатой нового аванса, такая в те наивные годы была простодушно-банная издательская коррупция. Мы тогда крепко сдружились, и я постепенно, штрих за штрихом, узнавал его жизнь, так что теперь мог бы написать подробное житие.

Судьба не была благосклонна к нему: на всякую удачу по две беды. Был он поселковый парень, с окраин Астрахани, то есть волгарь, довольно темный, но с литературным слухом и выраженными способностями к занятиям словесностью. Впрочем, по его словам, он и до армии усиленно занимался самообразованием, и между посещениями танцплощадки и обязательных после танцев драк, исправно навещал библиотеку.

В Москву он попал случайно: не имея ни родных, ни знакомых взял билет на поезд и прикатил. Потом говорил, что в Астрахани после армии ему было *душно*. И, почти невероятно, но, едва сойдя с поезда, он представил в Литературный институт все свои рассказы числом три – и был принят на заочное отделение. Что ж, отставной солдат из рабочей семьи... Он устроился на стройку ночным сторожем и днями сидел на семинарах. Так бы он и жил в своей сторожке, когда б не женился фиктивно на женщине Лиде, мастере спорта по художественной гимнастике, лет на пять его старше, дочери участкового милиционера. Зачем мастеру спорта потребовался фиктивный муж – не помню, кажется, из-за каких-то квартирных дразг с сестрой. А произошло вот что: Женька приглянулся новому тестю-милиционеру, конечно, о фиктивности брака тому не было известно. Позже, уже после смерти жены, Сашин рассказывал, что тесть его был добрым человеком и что его пришли хоронить все алкоголики, хулиганы и тунеядцы вверенного его попечению микрорайона. Так или иначе, вскоре этот брак перерос в настоящий. Лида родила сына, и лет восьми тот нелепо погиб летом, во время летних каникул, которые проводил у астраханских родственников: схватился в дождь, чтоб не упасть с забора соседского сада, за оголенный электрический провод.

После этой трагедии в ее поведении стали намечаться странности. А когда ее досрочно отправили на пенсию из какой-то инженерной конторы, она натурально спятила. Она не была буйной, ее лишь обуяла мания чистоты, и в дом своих зараженных уличными микробами друзей Женька приглашать не мог. По ее наперняка наущению, он, гуляка и пьяница,

пошел на какие-то диковинные курсы, где *вращал мантру* с антиалкогольными целями, и действительно *завязал*. Он не любил это слово, всегда поправлял *не завязал, а освободился*. Так или иначе, но пить он бросил и последние шестнадцать лет своей жизни с сумасшедшей женой в рот не брал. Впрочем, он никогда и не был запойным, и это самое *освобождение* на пользу ему не пошло.

Я так долго рассказываю о нем, Женьке Сашине, человеку добром, простом, но малоинтересном, ради последних его лет, которые отмечены были цепью несчастий, кои повлекли за собой в его душе неожиданный духовный поворот. Сестра жены, которая давным-давно покинула Россию, выйдя замуж в общежитии ВГИКа за много себя старше грека-режиссера, овдовев, поскольку пожилой муж сгодился в Афинах лишь на телевидении ипил очень много узо, не разбавляя, опять стала претендовать на долю в их двухкомнатной квартире. Психоз жены только усиливался, и у нее к тому же обнаружился рак желудка. Болезнь прогрессировала, началась квартирная тяжба. Жена умерла в мучениях. И последние полгода своей жизни Женька провел в одиночестве. Он говорил мне, что он, непьющий, часто заглядывает *в нижний буфет*, но я не придавал этому значения: что ж, его дома не ждут и он посещает свой клуб. Я не знал, что не слишком умный и поддающийся влияниям Женька, тяжело переживавший смерть жены, был уже агрессивным сектантом. Прилежным читателем *Протокола Сионских Мудрецов* и тому подобной протухшей провокационной дребедени и, конечно, бодрым сторонником идеи мирового жидо-масонского заговора. А поскольку он к тому же писал пьесы, то часто горько сетовал: *отчего в русских театрах засели одни евреи*.

– Конкуренция, – отвечивал я. – К тому ж вовсе не одни. Вон Олег Ефремов совсем не еврей.

– И драматурги все евреи, – не слушая, но, почесав в паху, простонал он. – У того же Ефремова – одни евреи.

Я прикинул, и русского сочинителя, действительно, ни одного не припомнил. – Да что отчаиваться, – попытался я его утешить, – напишем сами. И получше Гельмана.

Тогда он посмотрел на меня внимательно и странно, хотел, видно, что-то сказать, но сдержался, и я не придавал значения этому его взгляду.

Памятуя добро, что он для меня сделал, я все старался его, бедного бесприютного вдовца, утешить и ободрить, поселил у себя на даче, сам готовил ему по утрам овсянку, мы обсуждали, как бы сосватать ему добрую, не слишком молодую одинокую женщину с гуманитарными склонностями. Но его болезнь прогрессировала. Он ругал евреев, захвативших не только театр, но телевидение и кино. А также финансы. *Что ж*, пытался утешить его я, *банковское дело в Европе исконно было еврейским*. И вот однажды, милым дачным уютным вечером, когда теплое закатное солнце светило меж стволов сосен, вкусно пахло смолой и дымком от соседского мангала, когда мы мирно и дружески ужинали на веранде, Женька с лимонадом, я с красным вином, он спросил меня в упор, почесавшись:

– Почему ты скрываешь, что ты еврей?

Скорее всего, он давно готовился к этому разговору.

– Зачем же мне это скрывать, – изумился я, – коли я не еврей, а потомок русских дворян. А был бы еврей – не скрывал бы, а гордился бы своим народом.

– А почему фамилия на *ич*? – наступал он, все почесывая в паху.

– Ну, у Собакевича, Пуришкевича, Станюковича, Мицкевича тоже были на *ич*. Фамилия польского происхождения, почитай словарь русских имен.

– А почему отец Львович, – всё больше раззуживался он. – И мать Иосифовна!

– Ну, не считаешь же ты евреями Льва Толстого или Иосифа Джугашвили...

В те дни стояла жара, и утром мы поехали искупаться на ближайший пруд. Берега были засыпаны горами мусора, воняющего и тухнувшего. – Вот, Женька, видишь, евреи из Израиля мусор навезли – травить вас, русских...

Он мрачно помолчал.

– Русских я тоже ненавижу, – почесавшись, молвил он.

Чесался он, наверное, оттого, что некогда, когда еще изменял жене, у него были лобковые вши. И привычка почесываться в моменты раздумий у него осталась.

Я не стал бы вдаваться в тему антисемитизма: в наше время, как, должно быть, и во все времена, исповедуют эту, так сказать, веру люди недалекие и темные. Но Женька, сломленный своими бедами, стал *легко промокаем*, как говаривал о себе Толстой, и выпитывал, видно, ядовитую злобу своих новых друзей, на подбор мордастых, с рожами сытых охотнорядцев, хоть любая злоба с трудом помещалась в его слабую простую душу. Он не был идеалистом, беззаветным человеком идеи, фанатиком, борцом, он был всего лишь *тепл*, но не пылок, и не имел сил с криком ненависти нести хоругви. Он не мог верить из последних сил в то, что, коли избавиться от евреев, источника всех зол и бед, то мир мигом преобразится. В этом ему мешали некоторые признаки простонародного здравого смысла, да и отец его был фронтовиком, бранил фашистов, хоть и умер, не зная слова *холокост*.

Однако тема эта отнюдь не курьезна и не безобидна.

Вот плотно сидят в нижнем буфете, в *гадючнике* антисемиты, плечом в плечо дуют дешевую теплую водку, закусывая копеечными бутербродами с латышской килькой. И дружно ругают евреев. Впрочем, прибалтов они тоже не любят и поругивают за нелюбовь тех к ним, русским, и вообще, зачем нам немцы, не нужна нам *ихняя балтийская шпрота в постном масле*, у нас, *типа*, у самих есть своя патетическая симфония номер шесть. Это даже забавно: над ними, на других этажах ЦДЛ, заседают в кабинетах вороватые секретари, их командиры, все русские или татары, как на подбор, и потихоньку их обкрадывают. И главные редакторы издательств и журналов все русские, ни одного еврея.

Но алогичность собственных жалоб они не осознают. Здесь – убеждение иррациональное, и тем более неотразимое. Это – непоколебимая вера, что во всех их мизерабельных жизнях и судьбах виноваты – *другие*. Вера, близкая первобытной, идолопоклонству или шаманизму. Она им нужна, она им необходима, без нее как объяснить, что у них – они знают – уже никогда не будет приличных штанов, верных красивых жен и хороших квартир с импортной сантехникой. И никогда-никогда они не поедут в круиз вокруг Европы и не увидят Босфор на рассвете. И, как в одном давнем анекдоте, даже на конкурсе мудаков им светит только второе место.

В годы иссякающего большевизма я общался, конечно, и с другими слоями нашей интеллигенции, прямого отношения к словесности не имеющими, во всяком случае, сочинительству не подверженными. И если *гадючник* был заражен антисемитизмом, то слой, что называется, *порядочных* людей страдал другой болезнью – чудовищной паранойей, доставшейся в наследство от режима Рябого. В поздние советские годы эта не менее стыдная болезнь поражала даже вполне здравомыслящих и приличных, казалось бы, людей. Было принято среди даже давних знакомых вычислять *стукачей*. В *сексотстве* подозревали чуть не близких друзей. Дурные слухи этого рода распространяли люди, которым, вообще-то говоря, было нечего от властей скрывать – бомбистами по трусости и лени они не были и никогда не смогли бы стать. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что в пестрой интеллигентской московской среде были, конечно, осведомители. Кажется, КГБ коллекционировал их по случаю, про запас. Скажем, вызвали какого-нибудь доцента почти наугад, ну, читал в метро *Континент* по глупости, томик хоть и был обернут в *Вечернюю Москву*, но

агенты опознавали крамолу по бумаге и шрифту. Ну и попался. Одни подписывали согласие о сотрудничестве, не имея смелости отказаться, другие – не имея ума увернуться. Но так или иначе всеобщая взаимная подозрительность была в норме, и органы ее подогревали и ею пользовались.

Скажем, был у меня такой знакомый библиофил – Саша Хмелик. Человек образцово-нормальный, не глупый и с юмором, обаятельный и обязательный, *свой парень*, что называется. Через него я продавал полученные от зарубежных знакомых и уже прочитанные книги – держать собрание в доме я не хотел, и это оказалось мудро, да и деньги не были лишними. Это была преимущественно русская философия, издававшаяся парижским издательством *Имка-Пресс*. У Хмелика вообще был на дому как бы частный букинистический магазин, к тому же у него собиралась компания для игры в бридж. И рано или поздно к нему пришли с обыском, хотя унесли мало, а вот я лишился дорогого альбома китайской эротики. И в мой приход с соболезнованиями и с бутылкой Хмелик мне заявил: *а мои друзья считают тебя стукачом*.

Как вести себя в таком случае? Впадать в истерику и оправдываться, что, конечно, лишь усугубит подозрения? Или просто давать в морду? Я не сделал ни того, ни другого, а просто порвал с ним. И почти уверен, тот факт, что я покинул его дом, для окружавших его бриджистов стал лишним свидетельством их правоты. Мол, что разоблаченному доносчику теперь делать на месте преступления.

Для того чтобы в лицо обвинять человека в подлости, нужны самые веские доказательства. Но доказательствами себя никто не обременял. Даже от заглазных перешептываний этого рода я всегда испытывал горечь и стыд. И хорошо бы таким образом развлекались безответственные болтуны, люди без чести, раз они могут в отношении своих знакомых выдвигать столь страшные подозрения. И не раз у меня возникали чувства, что именно эти-то обвинители и повинны в грехе секретного доносительства, и пытаются переложить этот грех со своей больной головы...

Глетворная атмосфера постыдного страха перед *органами* отравляла тех, кто ею дышал, и паранойя оказывалась заразной, как гонконгский грипп. Вот еще один показательный случай этого рода, его приводит в своих воспоминаниях один из упомянутых уже инвалидных авангардных поэтов. Однажды его добрый знакомый, прозаик-интеллектуал, сказал ему при встрече как бы между прочим: *а вы знаете, Митя, про вас говорят, что вы стукач, Митя*. Тот спокойно ответил: *что ж, Владимир, думайте как вам удобнее*. Но, конечно же, выдержанный поэт хорошо запомнил и позже пересказал эту дикую беседу.

Конец Женьки был предсказуем. В страшную жару, не выдержав смерти жены, квартирных тяжб, всей лавины бед и огорчений он ослаб. И от взывавшей вдруг к тому же антисемитской скорби у Женьки Сашина разбилось его доброе простое сердце. К тому же еще при жизни жены хвастал он, всякое утро после горячего душа он опрокидывал на себя ведро ледяной воды.

Некогда у меня была знакомая клоунесса из цирка. Мы подчас выпивали в ее уборной после представлений. К нам часто заглядывал один малый, выступавший с эффектным номером – он жонглировал кирпичами. Кирпичи, конечно, были бутафорские, но штука была в том, что проделывал он это под лихую музыку в невероятном темпе, уследить за его руками было невозможно. Так вот, после вечерних возлияний, он, как и многие циркачи, перед утренней репетицией приводил себя в форму, долго стоя под контрастным душем. Он умер совсем молодым от разрыва сердца, прямо на арене, на зарубежных гастролях... Я рассказал эту историю Женьке, тот лишь отмахнулся: *я ведь не циркач...*

Жара только усиливалась. В морге стоял смрад. Гроб не открывали. Мы отвезли тело Сашина в крематорий, и красный ящик с его останками медленно уплыл в печь. Мне было

страшно жаль его, ничего толком так и не успевшего, жившего мелочами, а перед смертью к тому же связавшемуся с отвратительной компанией записных неудачников. Я после крематория даже на поминки в ЦДЛ не поехал, только чтоб не видеть этих морд и лишний раз не расплакаться над этой нелепой судьбой хорошего в сущности малого.

После того как я похоронил родителей, мне показалось, что я стал спокойнее относиться к чужим смертям. Происходит разрушение сакрального образа смерти, когда видишь своего родителя в гробу. А ведь родителя увидеть в гробу невозможно, такого ведь не должно быть и быть не может. И всякий знает, что *смерти не бывает*.

Но, видно, смерть все-таки есть, и привыкнуть к ней нельзя.

Можно лишь подготовиться к собственной.

А чужая смерть хорошо знакомого тебе человека, как угодно ожидавшаяся, всегда будет казаться поначалу глупой шуткой, неожиданной и неуместной нелепостью. Еще до Женьки я одного за другим похоронил сначала Володю, потом Алика, потом Сашу, потом Толю, все они были старше меня, но ненамного, на пять-десять лет. Из Парижа пришла весть о кончине Тоѐлстого, и я вспомнил, как славно мы с ним отужинали однажды пекинской уткой, запивая божоле, в маленьком ресторанчике в Латинском квартале. И с каждым из этих похорон у меня делалось на одного надежного друга меньше. И вот теперь Сашин...

Я получил эти два сообщения одновременно.

Прорезался мой давний заглохший было московский корреспондент Гоша. Повод был серьезный: наша сборная проиграла то ли чемпионат Европы, то ли мира. Я футболом нимало не интересуюсь, *болеть* занятие ненадежное. Но отец-офицер с самых младых Гошинных лет брал сына не только в баню, где безрезультатно приучал к жигулевскому после парной, но прихватывал и на стадион, когда играл ЦСКА. И навсегда приучил сына к этой довольно бестолковой стенке на стенку игре – не в качестве игрока, конечно, но болельщика. И, уж став седовласым мудрецом, Гоша все одно прилипал к телевизору, когда *показывали футбол*. Так и вижу его, с иссиня-черными огрызками стгнивших зубов – боялся стоматологов – в седой бороде патриарха, говорящего мне по поводу какого-нибудь моего пассажи *умничка* или *молодчинка*. И эти самые *молодчинки* и *умнички* всегда выводили меня из себя, хоть я и понимал, конечно, что это лексикон многодетного отца, так он поощрял своих малолетних деток за успехи в арифметике: Юля дала Павлику два мандарина, а себе оставила три банана...

Из его невнятных письменных околофутбольных комментариев выходило, что в этом позоре поражения тоже виноваты кремлевские власти, вся коррумпированная прогнившая система, и теперь уж революция точно неизбежна. Что ж, проиграли мы датчанам, что ли, или немцам. Верно, футбол спорт не славянский, к тому ж – наших спортсменов и болельщиков там, в странах ближней к нам Европы, страшно третировали, обидно называли русскими свиньями и даже пытались больно бить. Как же надо было исторически нагадить своим ближайшим давнишним соседям, чтоб они так дружно, так стойко и истово нас, русских, ненавидели... Впрочем, оказалось, что какие-то идиоты вышли в Варшаве на марш русских болельщиков с портретами Рябого в руках. Прихватили бы еще изображение Тухачевского, что ли.

Ознакомившись с этим посланием, я развел руками и отвечать не стал. Что мне было ответить. Что мы, русские, освоив лапту и городки, теперь взялись за демократию. И что митинг на Болотной ничем не хуже полноценного матча с мордобоем в конце – пива пить не дают ни там, ни там...

А вот второе сообщение было действительно печально.

Умер Иван.

От повара венгра я получил короткое *Ivan die*. Счастливец, он не знал прошедшего времени и жил со своим гуляшом в инфинитиве.

Иван действительно говорил, что у него была полостная желудочная операция, кишка каким-то образом завернулась вокруг циррозной печени, и врачи категорически запретили ему пить, сказав, что один только стакан водки его убьет. Буквально накануне он написал мне письмецо, в котором весело и бесшабашно сообщал, что его сыну вчера исполнился год и что по этому поводу он себе *позволил*.

Врачи оказались правы. И мы уж никогда не исполним с Иваном его мечту – не спустим вместе на воду его замечательную лодку. *Bye-bye love, bye-bye happiness...*

Теперь я остался совсем один.

Пассажир без места.

Больше никто мне не напишет и не позвонит. Живу на краю света, и свет, как у Селина, кончается ночью. Островной постоялец. Насельник острова размером с *one room country*, как пела когда-то замечательная Анна Попович, *Ana Popovich* в оригинале, исполнительница завораживающих блюзов.

Даже память моя работала неразборчиво. Так, я зачем-то вспомнил, что Баратынский остро нуждался в дружеской болтовне, называл это молодое занятие *потолковать нараспашку*. Он был подвержен депрессиям и страдал от недостатка людского тепла. Светские отношения называл *кривлянием*, ему нужен был тесный контакт. Все это привело его к алкоголизму – редкий случай среди дворян позапрошлого века, привилегия все-таки различная. По-видимому, он отравился в Париже в присутствии жены – впрочем, есть версия, что она его и отравила или помогла отравиться, измученная его алкоголизмом, – брат у него был медик и, может быть, Евгений у него и позаимствовал яд. Ему было всего сорок. Пушкин, друг его ранней молодости, *Бокалы*, там, да *Кинжалы*, писал, что Евгений с возрастом стал *отделяться и отдаляться* – знакомая картина.

Что ж, в преддверии смерти кончаются задушевные разговоры, старость вообще не самая удобная пора для тесного приятельства. Старик всегда один. Вот и на похоронах болтать не принято. Да и кому болтать на моих похоронах, когда там никого не будет. Не будет просто потому, что никого рядом нет. Может быть, знакомые рыбаки сообразят положить мое тело в дубленую пальмовую лодку и пустить по волнам, как мертвеца у Джармуша. Похоронят как моряка, как настоящего островитянина, как мертвеца... Со мной теперь оставалась только Фэй, которая уже так долго пребывала далече. Да моя разыгравшаяся память.

Я вспомнил, как научила меня Фэй ходить по нужде – прямо в океан: и смыв, и подмывка одновременно. Я вспомнил, как она заходила голой в воду, и я смотрел с берега на ее полненькие крестьянские короткие ножки и на очаровательную попку, из которой позже, уже в воде вываливались ее не менее восхитительные какашки. И эти отходы с энтузиазмом подхватывал сиамский прибой...

Я пил ром и вспоминал бедную Лизу. К семидесяти она потеряла память. *Уж лучше посох и сума*. Впрочем, ей в жизни это доставляло и некоторые удобства.

...Ранний август, *брежневский застой*, как стали выражаться советские либералы-журналисты от ЦК, когда им дозволили. Богема в Москве пьет и гуляет. Карнавал идет от *проводов до проводов*, в промежутках и во время самого ритуала: брежневская клика из боязни смут решила приподнять занавес, и в щель поползли евреи, лица с *прожидью*, кому удалось и кто попало. Одни *отъезжанты* печальны, другие возбуждены, третьи откровенно страшатся: все порвано, продано, с работы уволено, паспорта сданы, заменены на справки ОВИРА, назад пути нет. Провожающие же веселятся и мародерствуют: разбирают не сданные в букинистический книги, тибрят какие-то картинки и посудку, виновники торжества

чувствуют себя в разоре, как на пепелище. Вокруг тарарам, песни Галича под гитару или танцы под доставшийся кому-то из родственников магнитофон. Возлияния. *Когда я вернусь*. Постепенно действие принимает характер не мистерии, но вакханалии. По углам обжимаются, ванная комната наглухо занята... Подобная вечеринка происходит в мастерской одного художника-графика, стены которой вперемешку с картинками завешаны по тогдашней моде прялками и скалками, собранными по чердакам деревенских изб. График *в подаче*, но неизвестно – *выпустят ли*, заранее это никогда не известно. Вокруг него его гарем: Танька спьяну всплакнула, Надюшка порывается исполнить стриптиз, наложница Галюша, Марфа – дома, делает смену посуды на столе. Художник еще не знает, что будущей весной уедет-таки, и уж вовсе не может себе представить, что он, баловень баб и детских издательств, напишет из Вены *денег нет, а доброволок не находится*...

Я танцую с Надькой. Глядя на нас, слившихся под какую-нибудь тарантеллу, домоправительница Галя скорбит и ревнует: у нас с ней тоже был летучий роман на жесткой гальке прошлым летом в Коктебеле. Роман, помнится, состоялся под *березковский* итальянский приторно-сладкий и горький от миндаля ликер *Амаретто*, *фишка* того сезона у богемы и *фарцы*.

Я вспомнил, это был 75-й, поскольку тем летом заключил договор с издательством на ту самую сашинскую книжку повестей и получил аванс, на который и гулял в Коктебеле.

Была на той вечеринке и Лиза, будущая моя крестная мать. Фу, как мы бываем глупы, не может же бывшая возлюбленная потом стать твоей крестной. Или все-таки может, нужно написать на *Свободу* отцу-ведущему. Но тогда ей было не до церкви: породиста, элегантна до дрожи губ у подруг, некрасива, стройна, сексуальна. Диктор всесоюзного радио первой категории. Браков немного, всего три. Первый – с театроведом, который давно на ВВС, дочь Манечка. Второй с художником, который давно, богато и громко в Париже, с фотографиями на обложке *Paris Match* в обнимку с Катрин Денёв. Текущий брак – с парнишкой-содовцем, сотрудником Общества дружбы с зарубежными странами, с которым она вскоре отправится *за границу*, это слово тогда произносилось торжественно и шепотом, прописью, отчего-то в Иорданию. Короче, Лиза – дама *с прошлым*, и теперь смотрит на меня пристально, что-то, видно, прикидывая. Но рано удаляется: муж, дочь, дом... Этот ее взгляд из какого-то уголка, с кресла, мне запомнился.

Сейчас, будучи немолодым *островитянином-под-пальмами*, постепенно усыхающим в этих двуличных тропиках, я смотрю сквозь тридцать исчезнувших, как не было, как это попоэтичней – *исчезнувших как дым*, именно так, ровно как дым исчезнувших лет, с добродушным прищуром. Мне тот я – молодой гуляка, живший будто вечным праздником, балбес с порывами молодого щенячьего вдохновения, скорее симпатичен. Хоть и неприятна траурная кайма под ногтями и три дня загула не меняющие трусы *в шоколаде*. Судя по реакции на меня не последнего разбора женщин, тогда я был, хоть и неухожен, но ярк собой. И порывист, и свободен, и смел, и фрондер, можно сказать – герой. Это сейчас мне отвратительно и помыслить о каком-либо бунтарстве: я стал неприятно взвешен, не конформен, но равнодушен. Можно сказать, мудр: смена властей на родине меня волнует не больше, чем чередование приливов и отливов. Да и не очень здоров, с наметившимся пузом, чуть усевшим от постоянных водных процедур, лысеющий, с повышенным сахаром и неровным давлением. Я вовсе не люблю себя нынешнего. Но и довольно безразличен и к тому забавному юноше, каким был когда-то, памятуя об издержках моей тогдашней порывистости и неумности, издержках, которые ведь были, конечно. И которых, будь я поумнее, вполне можно было бы избежать...

В те летние дни я собирался в Молдавию, в очаровательную мазанку в тени раскидистого сада, то есть уже тогда у меня была склонность к эскапизму. Легкая в те годы на

подъем Лиза прикатила ко мне: мы жили в моем домике и ели виноград прямо с ближайшей лозы. Когда мы располагались на траве под вишнями, ее платье почти сливалось цветом с пышной растительностью вокруг, образуя на траве зеленое пятно потемнее.

Помнит ли теперь об этом Лиза, не знаю. Мы плыли на катере в Сороки, Лиза пошла в рубку, попросила у капитана микрофон и своим известным всей стране голосом произнесла – *на нашем пароходе плывет молодой писатель Коленька*, хулиганка. Это она, кажется, припомнила, но на лице ее было сомнение. Или, скажем, недавно я рассказал ей, как мы за неимением другой посуды пили из толстого рифленого плафона, измазанного краской, шампанское в моей первой в жизни квартире, еще пустой и пахнувшей не просохшей штукатуркой. Пили за мое новоселье и за наше расставанье, потому что она скоро уезжала со своим мужем на Ближний Восток. Выслушав, она удивилась и не вспомнила. Интересно, помнит ли Лиза то свое, такое счастливое для нас, платье, женщины ведь на всю жизнь запоминают самые удачные свои наряды. Я-то помню даже золотые нити в его швах.

Я, непоследовательный неверующий, и сейчас не снимаю с шеи крестик, подаренный ею. И крохотный складень с Девой Марией, купленный Лизой в Иерусалиме на ступенях храма Гроба Господня у арабского торговца. Я ношу крест и иногда целую складень не из христианского рвения, но из суеверия. Как обереги. А Лиза и теперь в церкви молится за меня и ставит свечки за здоровье, если не забывает, конечно. А я теперь молюсь за Фэй.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.